



Параллельная
Вселенная
Геннадия
Вальдберга

Геннадий Вальдберг

КЛАРИЦА

Геннадий Вальдберг
Кларица (сборник)

«Э.РА»

2012

УДК 821
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

Вальдберг Г.

Кларица (сборник) / Г. Вальдберг — «Э.РА», 2012

Провинциалка, попавшая в столицу и потерявшая себя в ее дебрях, отыскивающая своего мужчину и совершающая страшное открытие: «Я – кусок мрамора! Я – не умею любить! Я – не хозяйка своему телу!..» – таковы перипетии повести «Кларица», составляющей костяк этой книги. Повесть продолжают рассказы: «Было Слово», «Феерия», – меняются герои, но проблема все та же: какие тайны скрывает наша душа? Всегда ли мы властны над нею? Почему мы намного охотней актерствуем, чем остаемся собой? На что накладывается фантастический антураж, местами неотличимый от повседневной реальности, и то, что поначалу кажется вымыслом, оборачивается грустной сермяжной явью. Геннадий Вальдберг не нуждается в специальном представлении. Его книги широко известны: «Эй! Мота-а-а...», «Цветок», «Праздник», «Любить сразу всё...». Сборник «Рождение шлягера», куда вошли две повести, выдержал два издания и сегодня является раритетом.

УДК 821
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

© Вальдберг Г., 2012
© Э.РА, 2012

Содержание

Кларица	6
I	6
II	10
III	14
IV	17
V	20
VI	26
VII	27
VIII	29
IX	34
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Геннадий Вальдберг

Кларица

© Вальдберг Г. (Genadi Valdborg) 2015

* * *

Светлой памяти моего брата, Арнольда, посвящаю эту книгу

Кларица

...желая подражать вещи, обладавшей подлинной реальностью, мы забываем, что вещь эта была порождена не желанием подражать, а какой-то бессознательной и тоже реальной силой...

Марсель Пруст

I

Еще не раскрыв как следует глаза, и лишь наполовину скинув ноги с постели, – где-то должны быть тут тапочки? – Кларица приняла решение. Точнее приняла его вечером, но утро есть утро, не зря говорят, что оно мудренее.

– Отныне я знаю, чего я хочу, – сказала она себе вслух, – и грош мне цена, если хотение мое так и останется только хотением!

Но сначала – к врачу!

И уже через час сидела в кабинете у эскулапа, где выслушать пришлось неприятное.

– Вы не фригидны, – сказал эскулап. – Фригидность вообще – устарело, неверно. Сегодня есть новое тому объяснение... – и стал произносить слова, много слов, которые невозможно запомнить.

Только дело не в словах.

– Доступность, – растолковывал лекарь. – Все дело – в доступности. Одним это – просто. Как дождик весной. Другим же – событие, нечто из ряда...

И точно: у Кларицы было из ряда. Не ее в том вина. Но об этом кто спросит? В глуши, в какой она выросла, о какой доступности кто бы вел речь? Вот дождик весной – тут врач в точку попал. А доступность?! – да в голову как же то влезет? Чтобы завтра от мал до велика судили: да в сажу ее, совсем голой – и в сажу! А то – ишь! – по рукам! Стыдобища какая! – И с обрыва сигай, или петлю на шею. Это сидючи в Дорлине хорошо рассуждать, а в медвежьем углу припечатают – шлюха! И век не отмоешься. В шлюхах ходи.

Это когда родители перебрались в Дорлин, и Кларица вдохнула воздух столицы, на многое взгляд ее изменился. Но до взгляда еще предстояло дожить.

И от Вигды услышать:

– Когда, – говорит, – парня нет, есть приборчик такой, заменяет вполне.

Кларица думала: сквозь землю провалится! Язык ведь отсохнет такое сказать. А Вигде – что с гуся вода:

– В Дорлине, – говорит, – не такое услышишь.

И верно, услышала.

– Потому что гормоны, ты им не прикажешь, – продолжала развивать мысль Вигда. – Накопляются. Вредно их много копить.

И случай из жизни:

– Копила одна. Девятнадцать – все копит. Двадцать пять – она копит. Ну, и встретила парня, какого ждала. Только прежде – да что я тебе объясняю? – без постели и свадьбы? – неслыханно нынче. Это наших прабабок так с рук отдавали. А сегодня сама все реши, постели... А наша скопидомка с мужчиною рядом – первоклашка, вчера за букварь усадили, и то ее больше в разы уже знает, – без опыта, в общем. А где его взять? Рискнула бы раз, второй-третий – ошиблась. А в четвертый, глядишь: получай, заслужила. А она все – в сундук. С сундуком и осталась.

– Или прыгун в высоту, – одного примера Вигде показалось недостаточно, – каждый день со скакалочкой прыгай: на правой ноге, и на левой, с прискоком. А если не прыгал – плохи твои шансы. Младенец – еще говорить не умеет, а губами – ему уже грудь подавай. А если не грудь, то хоть соску покамест. Учил его кто? Так природа велела. И ей поперек – только жизнь испоганишь.

И Кларица испоганила. Вот что от врача она вынесла.

И с этой мыслью отправилась дожидаться Далбиса, когда он из Лаборатории выйдет. Устроилась в небольшом стеклянном кафе, у самой витрины, чтобы двери в Лабораторию горшки с цветами не заслоняли. Выйдет Далбис из этих дверей – и я его сразу увижу.

Но поход к врачу, – хотя надо было пойти, и не сегодня, а полгода назад, – оставил осадок. Ведь шла туда с мыслью услышать другое. Сказал бы: – Больны. Вы, конечно, больны. А болезнь – есть болезнь, уважать ее надо. – Прописал бы таблетки, режим и микстуры. А то – не фригидна!? Здоровая, значит.

Второсортность во мне, – заключила Кларица. – Была и осталась во мне второсортность, от которой всю жизнь я бежала, бежала... Но поди-ка, сбеги, когда в поры впиталась.

Чему родители поспособствовали, серьезную лепту внесли, что не день или два, а годы расхлебывать. Дожидались, когда дочка школу закончит. Аттестат получи! Недоучкой останешься!.. Будто тот аттестат хоть бы в чем-то помог. Всякий день говорили: нам в Дорлине место, все нормальные люди туда перебрались, – а сами резину тянули, тянули. Мы от травмы ребенка тем, дескать, спасаем. Там уровень в школе – не всякой по силам. А нравы – вообще. Пусть узнает их позже.

И попала Кларица в Дорлин как кур в ошип. Что вокруг происходит – ничего непонятно. Вроде, люди как люди, но в чем-то иные, говорят меж собой – иностранцы как будто. Знакомый язык, все слова, вроде, знаю, а сложишь их вместе – и смысл ускользает. Одеваются так – попугаи как будто, под майку хоть что-то бы снизу надели. Что парням еще как-то, но то ж и девицы!.. Два шага пройдут – прыг в машину и газу, когда бы пешком и быстрее, и ближе. А ежели все же приспичит ногами, то не ходят, а с места в карьер – и галопом. Бросят взгляд на часы – опоздаем мы, дескать. А куда опоздаем? Никто не ответит. Да сами не знают. Таков, мол, стиль жизни. В ней ритм держать с детства нас приучили.

Но зачем приучили? На кой это нужно? Да и ритм такой – ведь не пляска как будто?

По сей день не разобралась с этим Кларица. Хотя пыталась. Ох, как пыталась. И о машине стала подумывать: сяду за руль – и тогда прояснится... Но какая машина, когда платья нормального на первых порах купить не могла, что от бабки досталось, донашивала. Вокруг – попугаи, глаз красками режут, а ты как цветок, что на клумбе завял. Лепестки все слиняли и дух нафталиновый. Идешь, от стыда на щеках угли тлеют: невидимой стать, чтоб насквозь все смотрели, а то – усмехнутся и нос отворотят.

О том ли мечтала Кларица, когда в Дорлин стремилась?

И ни подруг, ни друзей, никого.

Устроили ее секретаршей в контору: поработала месяц – и хватит, спасибо. И в толк не возьмешь, отчего так случилось? Что поручат – справлялась, всё к сроку, хвалили. Клиенты придут – кофе, чай на подносе:

– Подождите немного, босс занят делами.

И сидели, и ждали – не в гости явились. Пока вдруг один, – вот ведь в голову влезло! – возьми и начни шуры-муры крутить:

– А как вечером мы винца по бокалу?..

И послала его: на работе я, дескать!..

И босс не ругался, когда увольнял. Солидный, высокий, серьезный мужчина, – ведь мог объяснить, в чем провинность, какая? Но развел лишь руками: сочувствую очень.

Отец в Дорлине в гору пошел, зарплату приличную дали. И когда дочка домой заявила:

– В услугах моих не нуждаются больше!..

– Прокормлю, – говорит.

Но на родительской шее сидеть не хотелось. Не затем из дыры меня в Дорлин тянуло. Умру! – а найду себе новое место!

Тогда и познакомилась с Вигдой. Если бывают на свете случайные встречи, то случайнее этой не выдумаешь. В забегаловке, рядом с бюро, куда безработные отмечаться ходили.

Работу Кларица искала через газеты, во всяком случае, пыталась найти, и зачем ей бюро? – оставалось неясным. Другие ради пособия туда наведывались. А ей с ее месячным стажем – отмечайся ли, нет, – ничего не заплатят. По идее, в бюро предлагали работу. Но опять же, специальность когда уже есть. А какая у Кларицы специальность? Печатать одним пальцем умеет. Бумажки с угла на угол стола перекаладывать. По инерции, в общем, ходила, не надеясь ничуть, просто совесть очистить: и этот, мол, шанс я испробовала.

А как выйдешь из бюро, под тентом в цветистой рекламе, примостились несколько столиков и прилавок еще: сэндвич, кофе купить. Или пачку печенья и банку с шипучкой. Безработные здесь не задерживались, с пакетом и банкой на улицу сразу, а Кларица за столик присела: претило у всех на виду. Еда – все же дело интимное. Да и мест хоть немного, садись – на всех хватит.

Но Вигде Кларицын столик приглянулся:

– Присосежусь к тебе. Возражений не будет?

Так сразу на «ты», что Кларице не понравилось, не привыкла она, чтобы так с нею запросто, и первым желанием было Вигду отшить. Но поздно. Вигда, не дожидаясь приглашения, села, и ее понесло, будто сто лет знакомы:

– Ко мне парень пристроиться хочет, прилип как репей. Отвязаться мне надо. Пусть к черту идет! Не желаю с ним больше.

И Кларица посмотрела на парня: и вправду репей, весь взъерошенный, потный, волосы в жизни не стриг, и морда в прыщах, подбородок небритый, и серьги в ушах – два шурупа завинчены, – Кларица бы такого тоже отвадила.

А он – то ли взгляд уловил, а может, и просто, плевал он на взгляды, – выбрался из-за стола, где его Вигда оставила, банку с шипучкой свою прихватил, и вразвалочку так: мол, сейчас осчастливорю!.. А у Кларициного стола еще один стул, то есть место не занято... И Кларица сама себе удивилась: сняла с плеча сумку и на этот стул, перед самым носом лохматого, бросила.

На что он рукою: а ну, мол, сними!

Если бы Кларице кто-то сказал, что она на такое способна – ни за что не поверила бы. Но, видно, коса наскочила на камень.

– Вы ко мне обращаетесь? – подняла она взгляд на лохматого.

– Твоя сумка мешает.

У него и на языке оказалась серьга, еще один болт, как ножом по стеклу по зубам его лязгнул.

– Ах, нет, не ко мне, – отвернулась Кларица. – Тогда я вас не вижу, не слышу.

Она думала, он сошвырнет сумку на пол, и вообще кулаки в дело пустит. У типов таких не задержится. Но он от Кларициного ответа застыл, словно на кол его посадили.

Что Кларицу подстегнуло, и она – давая понять, что всё, инцидент, мол, исчерпан, – заговорила с Вигдой. Вигда стала кивать, соглашаться. Хотя Кларицу – убей, – о чем завела, не припомнит. А тип все стоит, словно мало на кол, еще к полу прилип. А потом вдруг возьми и вверни: мол, примите меня в разговор... И Кларица снова на него посмотрела. И что уж такое в глазах ее было, но он – как серьгой подавился.

– Вы по-прежнему не ко мне обращаетесь, – с упором на «не ко мне» сказала Кларица, – а я по-прежнему вас не вижу, не слышу.

– Кто это такая? – уставился парень на Вигду. – Откуда взялась?

А Вигда вперилась в свою банку: мол, я тоже не вижу, не слышу.

– Не кто-то, а ближайшая подруга, – не меня интонации, сказала Кларица. – Хотя отчитываться перед вами – кто вы такой? Или с мозгами у вас не в порядке? Тогда снизойду, еще раз объясню: мы вас не видим, не слышим. Вас просто нет. Вы – фантом. Вы отсутствуете.

– Она всегда вот так разговаривает? – отшатнулся тип. – Не по-человечески как-то...

И тут Кларица поставила точку. Из камня коса искру высекла.

– А ну, пошел вон! – помешивая шипучку соломинкой, сказал она. – Такой язык вам понятней?!

– Э-э, а полегче...

– А я не полегче. Сейчас запущу этой банкой!

И запустила бы. Как пить, запустила бы.

Что до лохматого наконец-то дошло. Он схватился за стул, будто загородиться стулом хотел:

– Я вечером тебе позвоню, – стараясь не смотреть на Кларицу, сказал он.

– Напрасный труд, – Вигда продолжала тарашиться в банку, и вместо нее ответила Кларица. – Вечеринка у нас. А утром мы спим.

– Тогда завтра...

– Тоже напрасный. Мы за город едем. И вообще, вы для нас – не существуете. Или вы настолько тупы, что вам сотню раз повторять это надо?!

– Жалеть еще будешь...

– А ну-ка, катись! – начала подниматься из-за стола Кларица.

И тип про стул позабыл. И с кола сразу слез. Отпрянул, полязгал о зубы серьгой. Но стало понятно, теперь не вернется.

Кларица села на место, – внутри еще не все улеглось, и все же героиней себя ощутила, – и только тут увидела, что Вигда от смеха давится. Сжимает банку с шипучкой, будто раздавить ее хочет, а сама как пузырь – сейчас лопнет.

И Кларице тоже стало смешно. Но она, как и Вигда, свой смех придержала. Так и сидели какое-то время, соревнуясь, кто дольше продержится. Но Кларица первой не выдержала – ха-ха-ха! – закатилась. Из глаз слезы текут, в груди воздух иссяк – а еще хохотать, и сильнее, и громче, и еще бы чуть-чуть – да в истерике биться.

Только тогда к ней Вигда присоединилась.

Народ, безработные, вокруг что сидели, глаза стали выкатывать.

Один парень сказал:

– Может, скорую вызвать?

А Кларице с Вигдой – какой смех унять?! Вышли на улицу, но и там продолжали покачиваться. Стали за платья друг друга хватать, по плечам и по спинам ладонями хлопать: сейчас слово скажу! Дай лишь воздуха чуть!.. – но попробуй, скажи, когда воздуха нет, когда он в тебя, хоть убей, не стекает, а зато из тебя – как струя из брандспойта. Ха-ха-ха, хо-хо-хо! – животы надорвали. Все поджилки болят. Никакой силы нет. Так что даже поговорить ни о чем не смогли. Обменялись телефонами, – на ладонях друг другу записали, – и все так же – ха-ха! – по домам разбрелись.

II

Вигда работала в фирме, где собирают статистику, занимаются всякого рода опросами: какой цвет предпочтете вы летом? Купальник открытый или цельный? Безманжетные брюки, но в клеш и с разрезом, или нет, без разреза, в обтяжку на икрах?.. – Вопросы дурацкие. Зачем и кому это нужно? – Вигда не могла объяснить. Да и какая разница? Кто-то заказывает, деньги на счет переводит, сиди целый день и долдонь как сорока: – С клубникою лучше? Или с привкусом вишни? – звони всем подряд, заноси на компьютер: «да» или «нет», или прочерк – «не знаю». Зарплата – гроши, и поэтому долго там никто не задерживался. Две девчонки учились, а другие искали, куда бы сбежать, и, как правило, находили – такую же дрянь, – но где платят побольше. А кто-то выскакивал замуж. Что негласно считалось конечной целью.

– Но ты не спеши, – с первого дня принялась наставлять Вигда Кларицу. – Работу сменить – дело плевое. Надоела, другую найдешь. А замуж скакнуть – это омут. Надолго.

И эта Вигдина прямота сперва испугала. Знаниями, каким в школе учат, Вигда не блистала. Умножить, сложить – калькулятор на то. Кларица не уверена, что Вигда вообще школу кончила. Но что ей не мешало разбираться в вещах поважнее: в мишуре, ерунде, из которых, по сути, и строится жизнь. Ее глаз моментально хватал, если что-то и с чем-то не сходится.

– Это платье смени, оно старит тебя. И вообще, перейди-ка на брюки. И удобства, – когда Кларица как-то пришла на работу в рубашке мужского покроя, по ее же, по Вигды, совету, – лифчик нужен лишь тем, кому есть что скрывать!

От подобных заявлений бросало в краску. Но, пережив стыд, Кларица всякий раз проникалась завистью: к той легкости, отсутствию тени боязни, с какими Вигда называет вещи своими именами.

– Да женская грудь – нам того не понять! – рассуждала Вигда с такую категоричностью, что поди, усомнись: обстоит, мол, иначе. – А мужчины – куда? На нее лишь и смотрят. И ты им покажи, пусть в штанах у них лопнет!

И Кларица не была одинока в таком отношении к Вигде. Девчонки, что сидели за перегородками (вся фирма была поделена на клетушки), улучив минуту, подбегали к ней:

– Как мой парень тебе? Ну, вчера мы, в кафе?..

И Вигда выносила приговор, порой судьбоносный:

– Гони его прочь. Да надует тебя. Поматросит и бросит. Не строй, в общем, планы.

И бывали обиды, бывало, по неделям одна или другая с Вигдой не разговаривали, а потом приходили с повинной: что все так и вышло, как ты предсказала.

И совершая над собою усилие, Кларица следовала Вигдиным наставлениям. Сменила прическу... А точнее ее создала, потому что до этого в жизни не стриглась. Подрезала волосы, когда они отрастали чересчур длинные.

– В дорогую парикмахерскую не ходи. Зря деньги потратишь, – и в этом приняла участие Вигда. – Есть у меня знакомый. Много не возьмет. Много надо платить, когда три волосины на черепахе. А с твоею копной – тут и делать-то нечего.

Но знакомый сделал... Такое сделал, что Кларица себя не узнала. И по улице шла, в землю пялясь, потому что на нее все оглядывались, ухмылялись, хихикали:

– Экая краля!

– Смотри, как идет!

– Себя выставляет!

– На подиум прямо!..

Вигдин знакомый постриг ее под мальчишку. До того коротко – только чуб на пол лба, и пробор – кожу видно. И покрасил еще, сделал яркой блондинкой. Разве там или сям рыжины подпустил, как солома в стогу, что сгорела на солнце.

– А с зарплаты серьги купи, – не унималась Вигда. – Я тебе помогу. Место знаю одно. Нестандартные вещи.

К этому времени от родителей Кларица съехала. Сняла квартирку на Седьмом этаже; такую же выше – в два раза дороже. Престижнее там – но когда денег нет. А съехать надо было. Отношения, что ни день, накалялись. Отец еще как-то терпел: перемелется, дескать, мука после будет... Хотя, что он имел в виду под «перемелется», а что под «мукой»? Что Кларица набьет вдоволь шишек и снова станет паинькой, какой привезли ее в Дорлин? Второсортной, короче, от чего ей хотелось избавиться. На что мама, скорая на выводы, иллюзий отнюдь не питала:

– Да не видишь?! От рук отбивается. Связалась, небось, черт-те с кем?!

И Кларица совершила ошибку: привела Вигду познакомить с родителями. И пока сидели за столом, и мама угощала всех пирогом, который сама испекла...

– Нестандартно! – узнав о происхождении пирога, не скрыла восхищения Вигда. – Такого в Дорлине с огнем не найдешь, чтобы кто-нибудь сам пироги дома пек.

Отец расспрашивал Вигду о фирме, в которой она работает (Кларица тогда еще только устраивалась), о перспективах на будущее. Не подумывает ли Вигда пойти учиться, получить специальность попрестижней – не век же в телефонистках сидеть? На что Вигда ответила: нет, планы ее много проще.

– Замуж я выйду, и медовый месяц проведу в путешествиях. Повидать надо мир. Пока нету детей.

И это, «детей», в маму словно заноза вошло. То есть так понимай: дети – жизни помеха!?

– А мы, вот, живем. Ничего ведь, не умерли!

Все это разыгралось после Вигдиного ухода. И будь Кларице куда уйти... Но не было. И пришлось все это выслушивать.

– Да совсем другое Вигда имела в виду, – тщетно пыталась объяснить она матери. – Просто молоды мы. Что не вечно, пройдет. И свободны пока, черпнуть хочется жизни.

Но папа в тот раз взял мамину сторону:

– Шлюха твоя Вигда!

Удивив, что с плеча рубанул. Обычно он о вещах судит мягче, умеет разглядеть в них и полутона. Но Вигде досталось одной черной краски:

– Профессиональная шлюха. Знает себя как подать, поднести. Путешествия, мир. Очень даже возможно. Но тот, кто рискнет с нею жизнь свою спутать, ее, этой жизни, лишится. Потому что зов шляться у твоей Вигды и после замужества никуда не денется. Есть такая порода людей – им бы только хватать, что поближе лежит. Присосутся как пиявка, всю кровушку выпьют, – и к другому айда. И неважно к кому. Было б только и там чем-нибудь пожить.

Наверное, неделю Кларица с родителями не разговаривала. Только-только начала обживаться в Дорлине, понимать, что к чему, избавляться от своей второсортности, как такой вот удар! Появилась подруга – подругу гони!?! А у самих – телефон по неделям молчит. Разве родственники из медвежьих углов в месяц разок раскошелятся. Нет бы, в Дорлин приехать. Но жди?! Прилетят?! Доходы не те, чтобы в столице проматывать. И чего же хотят: чтобы я, как они, заперлась в четырех стенах? Работа, семья, – ничего, мол, другого на свете и нет?!

Конечно, Вигда не эталон, и у Кларицы в мыслях не было ей во всем подражать. И Вигдины рассуждения о замужестве – надо правильно к ним относиться. Не самоцель это вовсе. Да и Вигда на том не настаивала: омут, в который придется скакнуть; хотя, не хотя – когда жизнь так устроена. Но у Вигды, в отличие от родителей, есть смелость омут омутом называть. А они: поступай, мол, как мы. Будто кто-то сказал, по-другому нельзя?! Мол, поступишь иначе – жизнь прахом пойдет.

В общем, хотели родители или нет, но к тому, что Кларица оставила дом, сами масла подлили.

– Попытайся. Еще приползешь! – на прощанье сказал ей отец.

Но Кларица не приползла. Хотя диву дается, что выстояла. Случались минуты – белугой хотелось завывать! Никогда прежде не оставалась она одна, всегда был кто-нибудь рядом. И о деньгах никогда не задумывалась. Скажет отец: – Денег нет! – и закусит губу: обойдусь я без куклы. А потом деньги появятся, и отец ее за руку и в магазин: – Выбирай, ты вот эту хотела? – И Кларица выбирала и радовалась, что деньги теперь, значит, есть. Но самой их добыть? Сделать что-то такое, за что деньги вот эти заплатят?.. И после ухода из дома – бывало, что в холодильнике шаром покати. Кроме банки с шипучкой, лишь лед там на стенках. Но потом как-то стало устраиваться: девчонки в том-сем помогали; лишнюю смену за кого-нибудь отдежуришь – и к зарплате прибавка. И в холодильнике сыр и масло стали появляться. А то и мяса кусок, и бутылка вина. Можно кашу сварить и котлеты пожарить. И на платья научилась выкраивать. И на серьги, как Вигда сказала... Да, собственно, благодаря Вигде – больше всех она участия приняла – и удалось продержаться. На любой случай у нее припасено что-то было: где дешевле купить, и рассрочку оформить. Без процентов почти. И хорошие вещи.

И жизнь стала, в общем, налаживаться. Квартирка – клетушка. Но это – пока. Стали появляться знакомые. Ухажеры не бог весть какие, но в кино или кафе вполне можно сходить. Как в той конторе, откуда ей сказали спасибо, она их теперь не спешила отваживать. Понимать начала, что Дорлин – не медвежья берлога, из какой родители ее привезли, здесь другие уклад и порядки. Здесь кто побогаче, шустрей, половчей, такие соблазны – кричи караул! Казино, рестораны, концертные залы!.. Не просто, конечно, до всего этого дотянуться, но под лежащий камень вода не течет. Вопрос лишь в одном: как его с места сдвинуть? А покамест, не напрасно же время терять, вечером на улицу можно выйти: прогуляться по скверу, на рекламу взглянуть, за столик присесть, кофе чашечку выпить. А вдруг тебя кто на заметку возьмет.

У Кларицы красивая фигура... Что было откровением. Она это от Вигды узнала, а раньше считала: коряга корягой. Посмотришь на девчонок вокруг: ущипнуть есть за что, одна и другая уже лифчик носят, а Кларицу от зеркала ветром сдувало. Селедке, и той бы могла позавидовать: грудь не растет; руки, ноги как спички; всё в рост подалось, аж отца переплюнула. А мама и вовсе (без шпильки – как можно?): – С тобой говорить, очи к небу таращи.

Но когда с Вигдой познакомилась, все с головы на ноги перевернулось.

– Фигура – как шляпа, на всё своя мода, – объяснила подруга. – Раньше, – говорит, – такие шляпы носили, лица не видать. И одежды под стать: чем меньше покажешь, цена тебе выше. Любая кикимора нарасхват сразу шла, если ее приодеть умудрились. Ну а нынче не так, товар должен быть виден. И когда складки жира, второй подбородок, и вымя коровье – плохи твои шансы. Раньше баба – рожать, в том ее назначенье. Значит, кровь с молоком – или потомство гнилое. А теперь – не рожай, не заставит никто, лишь красивую будь, чтоб эстетики больше. И твоя худоба, – продолжала подруга, – загляни в магазин, на любой упаковке: тут калории две, там – одна, вовсе пшик. Все журналы полны, как диету держать. Книг других давно нет! – кто их станет читать? – подавай всем одно: то не ешь, то не пей. Лишь в две дырки сопи; прыгай, бегай, ходи. Вес сгоняй, уменьшай, как доска плоской будь. Повезло тебе, в общем, ценить это надо.

И Кларица оценила, и зеркала перестала чураться. И то, что поначалу представлялось уродливым, поднатужилась чуть – оказалось красивым.

И одеваться по-дорлински Вигда ее научила:

– Цветочки, ромашки – про это забудь. Рисунки на майку годятся. А в платье – фактура, и цвет чтоб один: не блеклый с гнильцою, а яркий, живой. В глаза чтобы бил, отвернуться нельзя.

И ходить, как положено. Хотя Кларица всегда считала, что нормально она ходит. Не спотыкается. Разве не носится как угорелая, но чтобы носиться – причина нужна.

– К черту причину! – отмахнулась Вигда. – Не вешалка ты. Платье купила – показать его надо. А носиться как угорелой и с красивой походкой можно. А ты словно на палубе, шторм за бортом. А в Дорлине штормов не бывает, и пол от тебя никуда не уйдет. Не вправо и влево, ноги ближе держи. Представь, что по струнке ступаешь.

И с этой стрункой Кларица ох как намучалась. Да людей насмешу. Или ноги сломаю.

– А ты бедрами больше крути!

И крутила, до того крутила, что в позвоночном столбе не раз и не два даже хруст раздавался...

И все-таки, научилась. Раз надо, так надо. Чтобы, когда по улице идешь, замечали тебя, в спину пялились.

А заметят, глядишь, пригласят, позовут: моделью, скажем, работать. Или на обложку журнала – почему бы и нет? Или, скажем, в кино, не смотреть, а сниматься.

О кино Кларица чаще всего задумывалась. И даже роль, какую сыграет, в журнале одном как-то вычитала: приезжает в Дорлин провинциалка, от которой сперва все шарахаются, неухоженная, в бабкином сарафане разгуливает. Что такое косметический кабинет – в жизни не слышала. А потом встречает она человека, чуть-чуть с сединой, но красивый до черта, и ведет он ее в магазин: – Выбирай, на что взгляд свой уронишь! – Дарит кольца и серьги, сажает в машину, и теперь все вокруг: – Где же раньше мы были!? – Соискателей тьма, табуном за ней ходят: – Всё к твоим мы ногам! Только «да» нам скажи. – А она: – Ну-ну-ну! Выбор сделан. Проспали. Только он – мой мужчина! Что серьги купил...

Ну а без журнала, и если фантазии разыгрывались не такие бурные, Кларица останавливалась у магазинных витрин, выбирая поярче и пошикарней. Вот это бы платье – зайду и примерю. И заходила, и примеряла, и сразу себя другим человеком чувствовала, когда продавец вокруг тебя суетится: – Отлично сидит! Ну, на вас, как влитое! – и пылинки сдувает, и полы одергивает. А рот чуть скривишь, тот же миг: – Есть еще! Вам с открытой грудью? И в талии уже? – И даже не купишь... А у Кларицы и в мыслях не было покупать в тех магазинах, где за каждое платье – полгода работай. Точно такое же, ну, может, чуть хуже, она купит совсем в другом месте, где витрины поплоче и продавец поугрюмей. Но принесешь это платье домой, кое-что в нем подправишь, подрежешь, надставишь, – и, поди, догадайся, где куплено было. А из того магазина, где все в зеркалах, воздух пахнет духами, где играет музыка томно и тихо: оставайся во мне, растворишься в моих звуках... – В другой раз я зайду! – бросала Кларица продавцу на прощанье. И хотя не хотелось уходить, но нельзя, в самом деле, здесь век оставаться. Выходила на улицу, грустно чуть делалось, но потом эта грусть незаметно рассеивалась. Вспоминала отца: – Ты вот эту хотела? – когда он приводил ее покупать куклу, о которой мечтала, ночей не спала, но вот же, сбывается, стала моею. И от воспоминаний, от пережитого, пока мерила платья, продавец суетился: чем бы еще угодить? – на сердце начинало легчать, и грусть обращалась в предчувствие праздника. Придет такой день! Непременно придет. И вправду, зайду, загляну в зеркала, и музыка мне не покажется томной, и выйду с покупкой, да еще не одна. Для себя, что ль, старалась? Да нужно мне сильно!..

Хотя тот, для кого старалась, представлялся смутно. С сединой и красавец – но это слова. На то и журнал, чтобы сказки рассказывать. А положила руку на сердце, не представлялся этот красавец, с сединой или без – не представлялся вообще. Понятно, мужчина, но дальше мужчины воображение упиралось как будто бы в стену. Платье, какое Кларица купит, умей она рисовать – тот бы миг набросала: какой материал, и фактура, расцветка. Видела она это платье, стояло оно перед глазами, – а вот человека, с которым захочет связать свою жизнь? Да и не просто жизнь, отдать себя всю, свою душу и тело...

И все-таки Дорлин – одно слово: Дорлин. Он обещал, и Кларица верила ему – не обманет.

III

Разрыв с родителями получился долгий, но не окончательный. Через полгода, а может, чуть больше, позвонил отец – родители первыми пошли на попятный: ты, мол, помнишь, что праздник у нас? Вся семья соберется.

Честно сказать, ничего Кларица не помнила. Никогда прежде семья не собиралась. Не было такой традиции. Но на всякий случай поддакнула. Ведь сам позвонил. Иль не дочь я, отталкивать.

А поводом оказалась серебряная свадьба. Что в переводе на нормальный язык – в Вигдиной интерпретации – означало, что двадцать пять лет люди терпели друг друга. И праздник теперь, что сумели, что сдюжили.

А мне двадцать два, – подумала Кларица. – То есть после того, как родители поженились, успели пожить. Не в первый же день меня бросились делать.

Из семейных преданий Кларица знала, что родни у нее пруд пруди. Но все разбежались, живут черт те где. Лишь дядька один, лет под двести ему, приехал из Колт-Пьери и снял гостиничный номер, а все остальные остановились в родительском доме, отчего он стал походить то ли на военный лагерь, то ли на стоянку кочевников. Кроватей не хватало, спали на полу. И Кларица нарадоваться не могла, что на ночь ей нет здесь нужды оставаться.

Тем не менее, свадьбу отпраздновали в ресторане. Отнюдь не дешёвом. Во всяком случае, Кларица не бывала в таких. И жалела, что не смогла пригласить туда Вигду. Но с другой стороны, Вигда бы здесь оказалась чужой. Кларица сидела по правую руку от отца и разглядывала своих родственников, которых видела первый раз в жизни: двоюродных братьев, сестер, троюродных теток, племянников. И странные мысли забредали ей в голову: ведь если отмотать время назад, не на год или два, а на тысячу лет – какой ресторан мог бы это вместить? Всех золовок, дядьев и внучатых племянников? Как подобные вещи выстраиваются? Кто решает: когда ветвь засохла, рубить? А вот эту – лелеять, поближе держать?.. И пришла к заключению, что в основе всего тут лежит компромисс меж природой и что мы природе навязываем. Захотим – и на первом колене порвем, захотим – до десятого станем тянуть, рассуждать: не семья уже мы, а народ. Привлекать доказательства: внешность, язык. Словечки, в кругу этом только понятные. Манеры, хватки. Как руки держать, если, скажем, в карманы решил их засунуть. Или волосы только назад всем зачесывать. И, ясное дело, во всем подсоблять: местечко получше, пристроить куда, ведь семейные связи – на то и семейные. И если бы так продолжалось – да жизни давно наступил бы конец. И значит, что связи обязаны рваться!

То есть, – продолжала размышлять Кларица, – нет здесь ничего обязательного, а все из меня, как сама я решу.

И она решила, что от этих людей отдалится. Видела, до чего они похожи на нее, на ту прежнюю Кларицу, какой ей не хочется быть. Женщины в платьях, что бабки носили. Пиджаки на мужчинах, нафталином пропахшие. Если галстук повязан, удавка как будто. Да и молодежь от старшего поколения не сильно ушла. Вызова больше, но вызов смешной. Вырядились во все самое лучшее, что не каждый день надевают, и сидит это лучшее на них как тряпье на огородных пугалах. Хотели блеснуть: мы столичных не хуже! – а вышло: деревня в квадрате. Потому что не в одежде дело. Хотя и в одежде тоже. Но перевешивает все впечатление, что ни под каким платьем и пиджаком не спрячешь. Проще всего сказать, впечатление провинциальности, но это не совсем провинциальность, во всяком случае, провинциальностью не исчерпывается, – эти люди отстали от времени. И молодежь точно так же, как старшие. Они не изведали вольницы большого города. Не гуляли по его скверам, не сидели на его скамейках, не заглядывались на многоцветье рекламы, перед их глазами не проходили тысячи лиц, незнакомых, чужих, каждый день – всегда новых. Они не останавливались у витрин магазинов, и их не одолевала фантазии:

дорасту, заслужу – и однажды все это станет моим! Они думать не думали про обложку журнала, и не коротали досуг за чашкою кофе в предчувствии чуда, которое может, должно ведь случиться! Их завтра – точь-в-точь как вчера. Они по инерции спрашивают один другого: – Как жизнь? – и: – Что нового? – и так же, по инерции, отвечают: – Все то же и так же! – заключая этот якобы диалог дурацкою присказкой, что отсутствие новостей – хорошие новости. Они радуются прошедшему дню, радуются его пустоте, что день, вот, прошел, а со мной, слава Богу, ничего не случилось: здоровье в порядке, на жизнь хватает. Сравнить это можно с чем-нибудь законсервированным, с яблочным вареньем, к примеру, закатанным в банку. Открой эту банку лет через сто – и снова дыхнет той же осенью, садом. Увидишь себя, как собирала в корзину те яблоки, увидишь маму, режущую их на мелкие дольки и засыпающую сахаром. И еще мальчишку, что залез на забор и глядит на тебя, а ты нос воротишь: зря губу раскатал. Ты в этой берлоге будешь век куковать, а меня – увезут. Иль сама как-то вырвусь. – Мальчишка не был безмянным, у него было имя, но некрасивое, Кларице оно не нравилось, – Глэм его звали. Он дергал ее за косы на улице, а потом хохотал, если удавалось сделать Кларице больно. И Кларица его как-то огрела портфелем. И сильно огрела, так, что у него из носа кровь потекла. Но он не заплакал, утер нос рукавом, и тихо сказал: – Я своими руками автомобиль соберу, – (купить, никогда ему денег не заработать), – и тебя с ветерком прокачу!.. – Если я соглашусь. – согласишься. – И прокатил, шею чуть не свернули. Этот Глэм давно вырос, и где он теперь? На заборы, небось, забыл лазать... А плоды сохранились, в них нету червей. Но пока они сохраняли себя, приключались на свете разные вещи: нарождалось, чего прежде не было, умирало, чье время прошло. Стало лучше ли, хуже? – другой разговор. Но живешь ты сегодня, сейчас. Всякий миг ожидаешь – не чуда, пускай, – но чего-то неведомого, что может прийти, и, конечно, придет, и все в тот же миг переменится. И это не каприз и не прихоть, а закон бытия. Пройдут еще годы, лет двадцать иль тридцать, и за тем же столом и на тех же местах будут сидеть другие люди, а эти – лежать все в могилах, гробах. Потому что ничто в жизни не повторяется, как не повторяется сама жизнь: она – одна, и все в ней – однажды.

И когда Кларица поняла это (для чего надо было прийти в ресторан, до ресторана о том не задумывалась), происходящее ей стало представляться иным. Она стала подмечать мелочи, на которые поначалу не обращала внимания. Что в чопорности официантов присутствует какая-то пренебрежительная развязность. Они каждый день обслуживают здесь посетителей, и праздник, подобный сегодняшнему, для них просто работа, рутина. Нечто настолько обыденное, как ей утром найти свои тапочки. И официанты смекнули уже, кто есть кто, и как себя подобает держать. – Вам кофе иль чай? Пиво? Можно и пиво... – они продолжали носиться с подносами, и все-таки ощущалось, что с другими клиентами они ведут себя по-иному. Пропускают вперед, опускают глаза. А с этими – нет. Кровь, повадка – не те. И даже двухсотлетний дядька из Колт-Пьери, который совал им в карман чаевые, не мог все равно стать для них чем-то большим, чем человеком, пускай и небедным, но не живущим в столице. Словно через зал пролегла стена, тонкая, эластичная и абсолютно прозрачная, которую обе стороны прогибают туда и обратно, но что стену не устраняет, она незримо присутствует, и когда веселье закончится, родственники, а значит, и Кларица, останутся по одну ее сторону, а официанты и ресторан – по другую. С его гирляндами ламп и зеркальными стенами, с полом, утыканным изумрудами, несомненно, поддельными, и неподдельно шикарными. С певицей в платье, осыпанном такими же изумрудами, не отходящей от микрофона и томно бубнящей про что-то свое. С толщенными глянцевыми меню, из которых не только что заказать, а просто прочесть все, что в них перечислено, нужно дожить не до серебряной свадьбы, а до золотой, а то и бриллиантовой.

И если Кларица что-то извлекла из этого вечера, – как сказал папа: чертовски удачного! – то только одно: в следующий раз она из кожи вон вылезет, но останется по другую сторону прозрачной стены. С рестораном, певицей. В том, другом мире, который не закатывали в банку, который, скорее всего, не напомним об осени, саде и яблочных дольках. Не напомним о Глэме

с окровавленным носом. Кларица останется в мире скоропортящемся. Но как раз потому вдыхать его надо быстрее, в полной мере.

На родственников Кларица произвела впечатление. Наверное, тем, что они разглядели в ней что-то другое, чего в них самих нет, да и вряд ли появится. И они весь вечер осыпали ее комплиментами:

- Прическа!
- А серьги!
- А платье!
- А туфли!..
- На диете, небось?
- Молодец, держишь форму!
- И духи у тебя – поделись, где купила?

Но больше других обхаживал ее дядька из Колт-Пьери:

– Есть внучок у меня. Твой ровесник, чуть младше. Подскочила бы к нам. Познакомлю. Гульнешь с ним. Я его подзапряг. На заводе он главный. Но на случай такой – выходной обещаю.

Кларица не знала, как от дядьки избавиться, и в конце концов пошла танцевать с каким-то племянником, который уже на третьем такте завел ту же песню: что неверно живем, разбрелись кто куда. А должно быть не так, должны вместе держаться. – И сунул Кларице номер своего телефона, надеясь, что Кларица поступит так же. Но Кларица не поступила. Не хватало еще телефон раздавать! – И снова налетела на дядьку, который из металлической коробочки, на манер портсигара, (надо было видеть, как он это делает!) извлек визитную карточку и торжественно (не всякому, дескать, такое!) вручил ее Кларице:

– Не таись. Позвони. Все-то в жизни однажды: упустишь свой шанс, второй может не выпасть. А билет принесут. Я лишь пальцами щелкну. Ведь в конторе твоей, не криви, гроши платят.

Чем Кларицу больно задел: своей прозорливостью и прогнозом на будущее. И Кларица не позвонила, ни ему, ни племяннику, хотя визитную карточку не выбросила. Потому что красивая. Никогда никто Кларице визитных карточек не давал. Положила ее в кошелек и носила с собой: раскрываешь когда, кто-то может заметить.

И Вигде потом это все рассказала: какой ресторан, как и что подавали. И Вигда в очередной раз восхитила Кларицу, как сразу и точно она все хватает:

– Не звони, не езжай – засосет как в болото. Ведь Колт-Пьери этот – для медведей берлога. От столицы – ого! – через всю страну ехать. Устроишь там жизнь. Очень даже возможно. И до гроба потом будешь локти кусать, что все лучшее в жизни прошло меня мимо. А что до ресторана – сходим еще. Не в такие, в шикарнее сходим.

Притом что в тот момент, когда Вигда все это говорила, ничего у нее на примете не было. Это Кларица точно знает. Но Кларицин рассказ о родительской свадьбе разбудил у Вигды аппетит. А когда Вигда чего-нибудь сильно захочет – нет такого, чего не добьется.

IV

И добились-таки. Кларица видела, как Вигда начала пошевеливаться: кому-то звонить, договариваться. Что, в общем, не новость. С парнями Вигда умела язык находить. Они на нее мотыльками на свечку летели. Даже в фирме – где их было всего ничего – сразу двое вокруг увивались. Чему Кларица завидовала и пыталась понять: ну, одевается с вызовом, лифчик не носит. Прическа, ресницы и серьги в ушах... Но назвать Вигду красавицей? Ухожена – да. Лак всегда на ногтях. Платья часто меняет: наденет раз, два – в третий раз не увидишь...

– Да с соседками я меняюсь, – не из чего не делала секрета Вигда. – У меня их пять, шесть... – припоминая, сколько этих соседок, стала загибать Вигда пальцы. – Мы что-то вроде коммуны организовали. Я бы и тебя в коммуну взяла, да ростом ты выше. Так что, извини, придется тебе других компаньонов искать.

Нет, если кто-то умел жизнь устраивать, из ничего, на гроши, и не хныкать, скулить, из любой ситуации выход найти, то лучше Вигды примера не сыщешь. И что бы ни говорили родители, а этому у Вигды могли поучиться.

– Завтра идем, – оправдала Вигда ожидания, когда через пару дней заглянула в Кларицын закуток. С наушником, микрофоном под носом, но микрофон тот рукою прикрыв. – На восемь договорилась. Так что если будут во вторую смену уламывать – отпирайся, не можешь, и все.

Но вторую смену не предложили, само обошлось. И все равно весь следующий день Кларица как белка в колесе прокрутилась: утром, до работы, – навести маникюр, а в пять, только смену сдала, – к Вигдиному знакомому, фен чтобы сделал.

С коммуной у Кларицы не получалось, хотя жила по соседству девица. Одевалась прилично. И Кларица к ней приглядывалась: в плечах чуть поуже и ноги короче. Но рост – прямо мой. Сантиметр плюс-минус. – То есть оставалось всего ничего: вступи, мол, в коммуну... – что Вигда давно бы уже предложила. А Кларица все не решалась. Да, наверно, и не решилась, если бы – в тот именно день – соседка сама не зашла:

– Извини, я вот стул попросить. Гостей нынче жду, одного не хватает.

– Какой разговор? Да, конечно, бери.

Тут же и познакомились, – ее Ророй зовут, – и соседка уж было ушла – то есть нерешительность Кларицы и здесь свои козни чинила, – но в последний момент внутри что-то ёкнуло:

– Ой! Да утюг я на платье забыла!

И соседка остановилась в дверях:

– Прожгла?

– Не совсем... Но пятно все же видно.

– Это из-за меня, – посочувствовала Рора. – Знаешь: я виновата – я тебя выручу, – и одной рукой прихватив стул, другой потянула Кларицу за собой.

Гардероб у Роры оказался так себе, поскромней Кларициного, но другой – и это самое важное.

– Я вот это, зеленое, сегодня надену, – сказала Рора. – Остальные – твои. Выбирай, что понравится.

И Кларица выбрала. Конечно, если бы сама покупала – без разрезов бы лучше, и так ведь короткое. Но потом, когда походила перед зеркалом: а может, и нет, не мешают разрезы...

Платье было ярко-красного цвета с серебряной ниткой, так что, когда поворачиваешься, по ткани пробегают словно бы молнии: сверху вниз, снизу вверх. Не слишком открытое, оно, тем не менее, не прикрывало шею, – хотя бы могло не прикрыть и побольше, – зато облегало фигуру, хорошо облегало, так что лифчик и вправду не нужен. И серьги к нему подошли. И туфли под цвет.

В общем, вышло вполне. Не стыдно в таком на глаза появиться.

И ровненько в восемь, на метро, Кларица приехала в назначенное место. В самый центр города, Десятый этаж. У входа в ресторан – «Розовый купол» – стояли два парня, но Вигда опаздывала, и Кларица не решилась к ним подойти. Хотя нисколько не сомневалась, что это именно те парни, с которыми условлена встреча.

В зеркальные двери заходили мужчины, пропуская вперед разнаряженных женщин. Напротив дверей то и дело останавливались машины: большие, шикарные. Когда они подкатывали, то из черных вдруг делались красными, из синих – зелеными, желтыми в блестках. Потому что козырек над входом в ресторан был усыпан лампочками, которые все время меняли цвета. А сразу над козырьком, тоже из лампочек, но совсем крохотных, складывались картины: пейзажи, ландшафты, каких не бывает в природе. Или появлялись чудища: звери, не звери, но что-то живое, – нисколько не страшные, но и не смешные. А потом набегала волна, смывала ландшафты и чудищ, и на их месте возникал контур Дорлина. Как бы в тумане, как будто смотришь издалека, как, наверно, когда подъезжаешь к столице. Пока, в какой-то момент, из всего этого мерцания – фрагментарно сначала, как бы из кусочков мозаики, – начинало складываться здание, и складывалось до тех пор, пока не увенчивалось розовым куполом. Что было, очевидно, намеком, откуда пошло название ресторана.

Хотя, если отвернуться от этих картин, никакого здания поблизости нет. Да и не может быть. И не только поблизости. Несмотря на купол, выглядело здание таким же нереальным, как ландшафты и чудища. Потому что в Дорлине здание – нонсенс. Как и то, что зовется домами. То есть слово «дома» существует, но подразумевается под ним совершенно другое: участок стены, за которым расположены, скажем, квартиры, магазины и офисы, – да все, что угодно, чему надо присвоить какой-нибудь адрес. Вот и у Кларицы: Седьмой этаж, Сто Тридцать Четвертая улица, дом номер восемь, квартира сто шесть. И скажешь кому – заблудиться нельзя: придет, найдет, носом точненько в дверь. И страшно подумать, если бы было иначе. Ведь Дорлин, по сути, один большой дом. И права Вигда, когда говорит: выйди из этого дома – лишь пустыня вокруг, где ближайший оазис – часа три езды. – И, наверно, именно в этой обособленности Дорлина, отрыве ото всех и всего, кроется тайна его величия. Он как человек, порвавший со своим окружением. Он перерос другие города Флетонии, перерос настолько, что утерял с ними общий язык. И его обитатели тоже этот язык утеряли. Потому что избранное для жизни место, кем-то случайно, а кем-то намеренно, делает свое дело: дорлинец, живущий в городе без года неделю, и старожил – не одно и то же, отличить одного от другого ничего не стоит. Годы, проведенные в Дорлине, покрывают каждого словно бы патиной: одного лишь чуть-чуть, а другого настолько, что непросто понять, кем-то мог быть он прежде. Тем не менее, дорлинцы недолюбливают свой город, чем порою кичатся. День ли, ночь, его улицы залиты светом, по ним течет кондиционированный воздух, потому что другому сюда не попасть; телеэкраны вместо стен, полифроловые деревья на тротуарах, всюду толпы народу, потоки машин, бесконечные пробки, из которых не выбраться. Так что, с одной стороны, дорлинцев можно понять: какое любить, да просто испытывать симпатию к этой банке с сельдями?! Однако есть и другая сторона: Дорлин уходил в одиночество, никого за собой не зовя. А раз сами за мной увязались – принимайте таким, каков есть! И дорлинцы принимают. Да и выбора у них, собственно, нет: лилипуты мы рядом с ним, и попробуй-ка пикнуть – задавит, сотрет. О чем вслух вряд ли кто-нибудь скажет. Но Кларица научилась заглядывать людям в глаза, научилась слышать не только то, что они говорят. С тех пор, как сама стала дорлинкой, она сильно продвинулась. Обрядятся как в тогу: горды мы собой; в любом другом городе Флетонии мы зачали давно бы – там почва и воздух не те, – а здесь мы растем. Кровь из носа, обязаны просто расти. В надежде, – уже от себя добавляла Кларица, – что однажды сравняемся с городом – и его отношение к нам переменится. И за тем, что сегодня кажется причудами этого одинокого исполина, откроется смысл, который покамест неясен. Что это будет за смысл? – хорошо бы, конечно, узнать. Но нельзя знать всего. Есть вещи, в которые можно лишь верить. И Кла-

рица верит, – вопреки показному оптимизму дорлинцев, вопреки непрменной улыбке, маской сидящей на их лицах, – верит и не сомневается, что все ее надежды однажды осуществятся. Я перестану быть лилипутом. Город одарит меня: за стойкость, за преданность, что тянулась к нему, дорожила его дружбой, даже когда эта дружба меня тяготила. И поделится знанием, которым делиться пока еще рано: вырвет из времени, смоем клеймо, что досталось мне от родителей, не позволит остаться яблоком в банке.

Вот какие мысли посетили Кларицу, пока она дожидалась Вигду. И не опоздай Вигда, кто знает, могли бы не посетить.

V

Парней...

Одного звали Доберман. Кларица со смеху прыснула:

– Да ведь это собачья порода!

– Для краткости – Доб, – представился парень.

А другого и вовсе не выговоришь, «Левобегущий» (придумал же кто-то такое?), но он разрешил называть себя Лебег.

...так этих парней опоздание Вигды ничуть не смутило. Хотя Кларица уже на часы посматривала: ведь кончится тем, что уйдут, и поход в ресторан – был да сплыл – нет похода. Однако Вигда возникла как ни в чем не бывало, ни чуточки не запыхавшаяся, шла не спеша, и, даже не извинившись (четверть часа – тоже мне опоздание?!), подозвала Кларицу. И знакомство наконец состоялось. Парни были в пиджаках, в белоснежных рубашках с запонками на манжетах и с заколками на огромных галстуках. Гладко выбритые, коротко стриженные, – от них, кружа голову, пахло крепкими мужскими духами, будто они только что вышли из парикмахерской. В общем, впечатление на Кларицу они произвели лучше некуда. И не только одеждой: представившись, они взяли Вигду и Кларицу под руки и подвели к тем самым дверям... И кто уж на Кларицу в эту минуту смотрел? Но кто-то смотрел, непременно, – спиной и открытую шеей Кларица взгляд этот чувствовала... В общем, как и те женщины, что приехали на шикарных машинах, она тоже вошла в зеркальные двери.

И Вигда не наврала: ресторан оказался шикарней того, в котором родители собирали родню. Столы в нем стояли свободней. Пол не был утыкан безвкусными изумрудами, к тому же поддельными, а был прост, но и строг: паркет, набранный из разных пород дерева, черного, красного с желтым и белым. На стенах висели картины, свет не резал глаза. На небольшом возвышении стояли четверо музыкантов, во фраках и с бабочками. В первый момент Кларица не расслышала, что они играют, настолько ненавязчиво они это делали, как бы подлаживаясь под атмосферу зала с несметным количеством нарядно одетых людей. Никто никуда не спешил. Официанты отодвигали стулья, приглашая посетителей сесть. Мужчины просматривали меню и что-то заказывали, а женщины задерживались перед зеркалом... Куда и Кларица заглянула, и осталась довольна собой: платье сидело прекрасно, разве шею могло бы побольше открыть... На Вигде тоже было что-то новое: брючный костюм из змеиной кожи (прикоснись – там и вправду чешуйки!), рубашка с распахнутым воротом, куда загляни и увидишь все-все (что вполне в духе Вигды), и немислимой высоты каблуки, которые сделали ее одного роста с Кларицей.

Что, скорей всего, было задумано: Доб и Лебег, особенно Лебег – двух метров, возможно, там нет, но где-то поблизости, – и без каблуков Вигда ему бы до плеча не достала.

Впрочем, когда уселись за стол, все это утеряло значение. Вот только уселись не в зале. Парни заказали кабинет, от зала всего занавеска, и все же не там, не со всеми. А Кларице хотелось туда: посмотреть на людей, которые ходят сюда как она на работу. Для которых все это – обычное дело. Это она первый раз в жизни вырвалась. И кто его знает: а будет второй ли? – и она решила, что когда музыка заиграет громче – парни ее пригласят танцевать. Она еще не определилась, кто именно... Но не надо спешить, всякий фрукт в свое время.

Где Вигда подцепила Доба и Лебега, она рассказала потом:

– На слирп я пошла. Пригласил тут один. Говорит, всех слирпистов он знает. Ну, а чтобы доказать, уже после игры, к ним в автобус привел. Познакомил, то, се, хи-хи-хи, ха-ха-ха, – но не душой же быть, даром время терять? – и меж теми хи-хи я им свой телефон. Ну и вот, позвонили, как видишь.

Что Доб и Лебег играют в слирп, стало ясно с первых же слов. Что Кларицу насторожило. Матчи по слирпу показывают по телевизору, и этих парней вся Флетония знает. И будь Кларица равнодушна к игре, еще на улице могла догадаться, что за сюрприз ее ждет. Но не догадалась. И, наверное, к лучшему. А то бы возникло предубеждение. Еще до переезда в Дорлин она сталкивалась с болельщиками, завсегдатаями стадиона. Ругаются, спорят, орут. За кружками пива до драки доходит. И не составляло труда представить, что там, на стадионе, творится! Да озноб пробирал. Да Кларице приплати – калачом не заманишь. Оказаться среди этих типов?! Где ни лиц, ничего, лишь отверстые глотки!..

Но Доб и Лебег оказались другими. Еще вчера Кларица и подумать не могла, что при слове «слирп» ее не стошнит. Что между фанатами, заполняющими трибуны, и теми, кто выходят на поле, пролегает граница, причем не полоска земли, а целина на тысячу верст. Те и другие живут в разных совсем измерениях, на стадион попадают через разные входы. И еще понравилось, что парни ничуть не стесняются, что слирп – их профессия, что перебрасываться блюдцем – источник дохода, и отнюдь не плохой. И что они могут позволить себе пригласить двух таких замечательных девушек в «Розовый купол». То есть зарабатывают они немало. Но у карьеры слирписта есть один минус – недолговечность этой карьеры.

– Мне двадцать девять, – потягивая сок из бокала, сказал Доб (от вина они отказались, вино заказали для женщин), – детский ведь, в сущности, возраст. Ан нет, уже думай, а как-то жить дальше.

– Будь я инженер или кто еще там, – продолжил Лебег, – да я бы ощущал, что я в самом начале. Дом, машина, семья – обустройвай жизнь. Человек. Человечью. Нормальную, в общем.

– А у тебя, что же, машины нет? – на удивление быстро захмелела Вигда.

– Есть. Даже две. Сегодня у меня все есть. Но что будет завтра?

– Косой Сажень руку сломал, – сказал Доб. – Страховка, то-се, перебьется покамест. Но серьезно сломал. В слирп уже не вернется. И теперь начинай, значит, брат, все с нуля.

– Ничего себе ноль?! – прыснула Вигда.

Она и Кларице подливала, но Кларица, даже если бы захотела, не смогла бы за нею угнаться. Да и зачем? С парнями было хорошо, было интересно их слушать: другая совсем, непонятная жизнь.

– Я бы тоже мечтала с такого нуля, – продолжала Вигда хмелеть. – Конечно, если пока в слирп играл, из ресторанов не вылезал. Машины менял как перчатки. На черный денек не откладывал. Но кто с головой, – постучала она себя по прическе (у нее и прическа в тот день была выше обычной), – до гроба тому сыром в масле катайся!

– Верно, – согласился с ней Лебег, – это ты верно говоришь. Только жить-то – оно всегда хочется. Рестораны, машины. И женщины тоже, – в отличие от Доба он оказался немного развязней, или нарочно подыгрывал Вигде. – Что не сможешь сейчас – завтра точно не сможешь. Накопишь мешок, и сиди на мешке. Будто в этом сидении весь смысл жизни?

– А в чем? – рискнула спросить его Кларица.

– Сложный вопрос, – посмотрел Лебег на Кларицу, и всю его развязность как рукою сняло. – Когда я был пацаном, и из школы за драку выгнали, я знал на него как ответить. В двух шагах от школы была спортивная площадка, и на этой площадке мне не было равных. Математика с физикой вот сюда не входили, – и, подражая Вигде, он тоже постучал себя по затылку. – Но так разлеглось... Нет, я не хочу сказать, что это простое занятие. Даже тем, у кого все как будто выходит... Когда меня пригласили играть – четвертая лига, смешно говорить, – и тренер меня стал гонять как козу: – Беги! Упади! Да не так, идиот! На задницу падать – там копчик ломаешь. Ты в жменю себя, весь в кулак соберись!.. – И это я на всю жизнь запомнил: в кулак, расслабляться нельзя. Почувствуешь слабость – да рогом упрись, но на поле не смей. И поверь, навидался таких, кто про этот «кулак» не послушал. Да Косой Сажень – ответственный матч, – но нельзя ему было на поле в тот день. Себя, свою суть был обязан услышать.

Лебег допил сок:

– Извини, что так длинно. Наверное, из-за того, что уроки литературы прогуливал... Но жизнь – она странная штука. Что прошло, то прошло. Но пока проходило... Бывает вот так, что человеку – хорошо. До того хорошо, что вопросы: зачем? почему? – не приходят. И там, на поле, я это впервые извещал. И чтобы изведать опять, приходилось терпеть: тренера, ругань. Непрерывно отказывать в чем-то: вина вот не пить, не курить...

А Вигда как раз закурила.

– И тогда, пацаном, я на все был готов. Цена не казалась чрезмерной.

– А сегодня кажется? – спросила Кларица.

Хотя уже не стоило спрашивать. Вигде все это наскучило.

– В зале танцуют, – сказала она.

И Кларица вспомнила, что тоже хотела пойти танцевать. Посмотреть на мужчин, разнаряженных женщин. На то, как обыденно там все для них. Но сейчас как-то вдруг расхотелось. И ничуть, ну совсем не была ведь пьяна.

А Лебег тем временем выбрался из-за стола, приглашая Вигду, но напоследок все же ответил:

– Нет. Повторись все сначала, я бы сделал все то же.

– Он у нас философ, – еще не задернулась занавеска, сказал Доб.

– Приходится, видно, – поддакнула Кларица.

– А почему вино ты не пьешь? Подруга твоя... Я еще закажу. Или, может, ты красное любишь?

– Нет... То есть, да, – оставшись один на один с Добом, растерялась Кларица. – Я не очень-то в нем разбираюсь. Да и в голову бьет. Уже кружится.

Хотя последнее было неправдой. То есть в голову било, но отнюдь не вино.

– Тогда не пей, – не стал настаивать Доб. – И вообще, поступай, как душа того хочет.

– Я и сигарет не курю, – похвастала Кларица.

На что Доб улыбнулся. Как-то по-собачьи. И Кларица вспомнила его полное имя... Нижняя челюсть у него весила, как минимум, тонну. Но что Кларица знала точно: собаки не умеют улыбаться, – и в этом несоответствии углядела что-то забавное.

– Только ты не подумай, что у нас всегда так, – сказал Доб, – что вечно на жизнь мы жалуемся. – Видно, за друга решил оправдаться. – Мы в Дорлин вернулись часа три назад. Полдня на автобусе. А в дорлинский климат за час не вольешься.

– Но это ведь здорово, – сказала Кларица. – Нынче здесь, завтра там.

– Здорово, – повторил за ней Доб. – Если бы ты меня лет десять назад повстречала, я слово бы в слово все то же сказал. Баул на плечо и – вперед! Никто и ничто не удержит. Все пожитки со мной, и не надо мне больше. Сегодня одна гостиница, завтра другая. Нет нужды привыкать: все течет, все меняется... Пока вдруг подкрадывается, что в угаре каком-то живешь. Словно наркотиков наглотался. Что все вещи как раз-то стоят на местах, и не они тебя мимо, а ты – мимо них.

– Ну и что? – не поняла Кларица.

– Да так, ничего. Только чувствам ведь не прикажешь. Сегодня, когда дома у себя оказался, даже чудно как-то сделалось: шкаф, пиджаки в нем висят. Можно галстук надеть – очень странно.

– И что же, все время вот так? – отодвинула бокал Кларица. Раз Доб не настаивает.

– Почти. Разве месяц на роздых дают.

– А издали это иначе совсем представляется.

– Издали, – опять улыбнулся Доб.

И Кларица только сейчас обратила внимание, что не только нижняя челюсть, а весь он – огромный, в плечах не обхватишь... То есть обратила и раньше, что высокий и сильный,

но сейчас он показался ей еще больше; и наверное, как раз из-за этой улыбки, которая с его огромностью – ну, никак не вязалась. Он как-то по-детски скривил губу, и на ней проступил белый шрам. Рассекли, видно, как-то.

– Это Лебег верно сказал, – все с той же улыбкой продолжил Доб, – когда начинали, все не так представлялось.

– Тебя тоже из школы выгнали?

– Нет, я нормально учился... Но родитель меня: на порог не пушу! Брат, вон, в люди пошел, а ты – бездарью будешь!

– А кто у тебя брат?

– Профессор. Недавно книгу издал: «Десоциологизация личности как этап эволюции» – заумь какая-то. Он и по телевизору иногда выступает.

– И что же, вы в ссоре, совсем не общаетесь?

– Общаемся. На похоронах отца месяц назад виделись.

– Но слирп, – осмелела Кларица, – всего лишь – игра.

– А профессорство моего брата не игра? Слип рядом с ним – баловство, безделушка. У нас, если жила тонка, то взашей. И другого возьмут. Никаких тут поблажек. Сегодня ты лучший – играй, все твое. А упал – извини, второй сорт нам не нужен. А в этом университете: сидят там, друг друга подсиживают... Ведь в этой чертовой политологии, чем мой брат занимается, ничего не поймешь. Напророчат одно, приключится другое, и потом объясняют, что именно так и должно было быть. Мол, симптом тот и тот не сработал, новый фактор свалился – его не учли, а когда бы учли – только кто мог учесть?.. Вот и сводится все к болтовне и былым заслугам, которым та же цена, что и нынешним: кто больше бумаги извел, на конференции чаще ездил, с трибуны ораторствовал, на телеэкране маячил... Будто на телевидение за здорово живешь позовут? Контакты навел, я – тебе, а ты – мне. Но все это, как говорится, «история без сослагательного наклонения», – это я брата цитирую. А говоря проще, послушной список, которого я – из кожи вон вылезу – не заслужу. И на что не ропщу. Потому что в джунглях и должно быть как в джунглях.

Пока он говорил, он перестал улыбаться, протянул руку и взял бокал, который отставила Кларица. Она подумала: пригубит сейчас, – но нет, не пригубил, лишь понюхал вино и поставил на место.

Кларица было хотела на том заострить: вот видишь, нельзя, – но не заострила и правильно сделала, потому что Доб снова улыбнулся, отчего шрам на его губе сделался еще белее.

– Хорошо здесь, – решил поменять тему Доб. – В Дорлине вообще хорошо. Каждый раз понимаю, что здесь мое место.

– И тебя не смущают его неудобства? – спросила Кларица. – Толкотня, всюду прорва народу.

– Нет, не смущают. Это, наверно, наследственное. Я – городской житель. Когда мы приезжаем в провинцию: море, поля и деревья вокруг... Того же Лебега послушай, еще два мешка наплетет: и травую как пахнет, и воздух какой!.. И прав. Сотню раз. Только что мне его правота? Природа тоску нагоняет. Ощущается вдруг: одинок ты, заброшен. В ней что-то вечное, а ты – как соринка. И тогда рассуждать начинаешь: всё, наверное, потому, что мы оторвались от природы, во всяком случае, такие, как я, оторвались давно и успели создать ей замену. Для нас, для меня, Дорлин – и есть природа. Он – как бы следующий этап: Бог сотворил землю и все живое, живое сотворило Дорлин, то есть взяло на себя роль Бога, а Дорлин сотворил нас, иными словами, подхватил эстафету, – и так, наверное, до бесконечности. Ведь и Бог, если Он существует, тоже откуда-то взялся? Кошунство, наверное, так рассуждать? Но, как Лебег говорит: себя надо слушать. Косой Сажень, вон, не послушал – и руку сломал. И брат мой сломал, только не руку, хребет, хотя уверяет, что все делал правильно. А кто сказал, что в жизни бывает все правильно? Если было бы так – жизнь давно бы закончилась.

И снова улыбнулся:

– А почему ты меня не перебиваешь?

– Интересно, – ответила Кларица. – Знаешь, когда я ждала Вигду, кое-что из того, что сейчас ты сказал, мне тоже пришло в голову.

– Не философствуй, – взял ее за руку Доб. – Не женское это занятие.

– Второй, что ли, сорт?

– Нет, самый первый.

В общем, когда Вигда с Лебегом вернулись, они уже сидели в обнимку. На что Вигда не преминула обратить внимание:

– Хорошо продвигается. Я одобряю, – и, найдя свой бокал порожним, осушила Кларичин одним махом.

Но вчетвером разговор не получил продолжения. Да и не хотелось его продолжать. Он не для четверых. Едва ли что-нибудь из того, что Доб сказал Клариче, он мог бы сказать и при Вигде. И вовсе не потому, что Вигда глупа и неспособна понять. Просто при Вигде все обратилось бы в шутку. А шутить все же лучше над чем-то другим.

И другое нашлось:

– А вы обратили внимание, какой серьезный у нас официант? – сказал Лебег. – Он и по залу ходит: поднос – будто письменный стол. Словно в паузах между заказами диссертацию пишет.

– О происхождении жаркого из тельека! – ввернула Вигда.

– Нет, – затряс головою. Доб. – О десоциологизации официантов... Эволюция наша была бы не полна, когда не народилось бы это сословие!

– Во, дает! – хлопнула Вигда его по плечу.

– Но от кого? – теперь настаивал Лебег. – Не от обезьяны ж, как мы, официант эволюционировал?!

– Да от бабочки! – еще выпила Вигда. – Конечно, от бабочки!

– Почему же от бабочки? – спросила Кларица.

– А взгляни, как идет. Над паркетом порхает.

После чего стали перебрасываться еще какими-то шутками, хохотать, даже когда было не очень смешно. Снова и снова взрываясь при появлении этого «диссертанта»... Попросили еще бутылку вина. А когда он принес:

– Время кофе пришло, – сказал Лебег.

– И много-много пирожных! – добавила Вигда.

Но главное было, конечно, не в этом, не в словах, не в дурачестве, а в атмосфере, словно перенесенной сюда из зала. Куда Кларица не пошла, и о чем не жалела. Но, как говорится, когда гора не идет к Магомету... Эта атмосфера забирала в себя и делала все абсолютно дозволенным... Чего в другой раз Кларица бы испугалась: да ведь так потеряешь себя! – и чему бы могла воспротивиться – но не воспротивилась: когда так хорошо, так тепло, так уютно!

Из ресторана, Кларица думала, Доб отвезет ее домой... Он и отвезет домой, только не к ней, а к себе. И когда она это поняла, заартачилась... Но протест получился ни то и ни се. Ну, привез и привез... Она все еще находилась в той атмосфере, унесла ее на прическе, серьгах и на платье с разрезами.

Хотя, пока поднимались в лифте, шевельнулся в груди червячок: через край, дескать, ты. Тормозни. Стань собою! – Но Кларица не прислушалась. Не каждый-то день, ведь особенный, чудный...

Да и что врать себе? Будто не думала, что такой день настанет однажды. Да тысячу раз представляла: два тела хотят, просто жаждут друг друга. Как будто естественней может быть что-то?

А раньше, до приезда в Дорлин, гнала эту мысль... Да и, собственно, гнать было нечего: отыщи дурака, что на кожу да кости позарится? Захочет обнять – синяки считать будет. Кларика даже до такого додумывалась: без мужчины я жизнь проживу. Кто сказал: непременно всем женщинам замуж? Кровь из носа – семья, век заботься о ком-то? А ребенка взбредет завести, сегодня то можно и так, без семьи. Смирилась, короче, со своим одиночеством, хотя одинокой себя не считала: подружек хватает, еще больше будет. Да и парней не чуралась, хоть и знала: ля-ля, анекдоты травить – а дальше на йоту не сдвинется. А насильно себя навязать, чтоб немилой прожить – сильно нужно!?. В школе вечеринки устраивали, но не бывало такого, танцевать чтобы кто пригласил. И перестала Кларика ходить на вечеринки. В дом гости придут – в угол темный забьется. Мама суетится, на стол подает, и нет бы, маме помочь. Но помочь – из угла надо вылезти, а вылезешь – всем напоказ: мол, любуйтесь, коряга какая. Оттого и с Глэмом на машине кататься поехала, потому что Глэм ей не нравился, будущего у него нет, да и имя уродливое. И не из-за машины тоже, не верила, что с ветерком прокатит. Просто, кроме Глэма никто никуда не звал. Гадкий утенок, короче. Оттого же и в Дорлин рвалась: здесь много людей, затеряться здесь проще. И только потом пертурбация в голове началась. Задолго до Вигды. Когда Дорлин увидела, какие кикиморы здесь под ручку с парнями гуляют. Так что в появлении Вигды было что-то закономерное. Изменения и без Вигды происходили, но я их не понимала, не замечала. А замечу – какой-то в них смысл? Просто время идет. Я старею, наверное. И понадобился кто-то извне, чтобы за руку взял и в глаза заглянул, и сказал: – Посмотри на себя, да ты вовсе не то, чем себя представляешь. Тебе Богом отпущено, а ты дар свой проматываешь. У тебя красивое тело, модное, многим на зависть. А что одеваться по-дорлински не умеешь, по улице ходишь как в качку по палубе, мужиков как огня сторонись, – переделать то можно, в твоих это силах. Тут всего захотеть, как по маслу пойдет. – Не дословно, понятно, но все это Вигда и вправду сказала. А Вигда на ветер слова не бросает. – Ты можешь, – говорит, – обходиться без лифчика. Тебе, Кларика, не стыдиться себя, а гордиться собою надо. – И тут началось, как с горы покатило, хотя никогда никому Кларика этого не рассказывала, даже Вигде. Но с тех самых пор, когда от Вигды узнала: не коряга, напрасно себя принижаешь! – в компенсацию, видно, Кларика пристрастилась часами стоять перед зеркалом и сантиметр за сантиметром, волосинку за волосинкой изучать свое отражение: а ведь вправду, красива! Ведь вправду! Не враки!.. – Понятно, что в такую минуту рядом никого не было, да и быть не могло, но вдруг окажись и посмей слово бросить: что смотреть на себя – рукоблудие это. Пускай и без рук – все равно рукоблудие! – Кларика бы возмутилась, пришла бы в негодование: да у меня и в мыслях подобного нет. Я смотрю на себя не своими глазами! – А чьими? – Понятно, глазами мужчины!..

Вот только мужчина оставался абстракцией. Седые виски, серьги, кольца в подарок... – смешно становилось от глупой придумки. Все будет не так, будет как-то иначе. Не представлялся, короче, мужчина. Что и не мудрено, когда реального нет на примете. Не внучек же дядьки из Колт-Пьери. Перед тем бы и впрямь не смогла я раздеться. А Доб?.. Даже если не сложится после... – гляди на все трезво и будь реалисткой!

И Кларика была реалисткой. Пыталась ей быть. Но палочки-выручалочки реальность не предложила.

И, оглядываясь назад, лучше, наверное, было уйти. Не входить в злополучный тот лифт. Закричать и, пока ключ не повернулся в замке, броситься прочь от проклятой той двери.

Надо слушать себя. А вот я – не послушала.

И, когда вошли в комнату, было уже поздно...

VI

– Я ничего не могу, – объясняла она эскулапу. Краснея, сморкаясь в платок. – Вы понимаете, я и к вам не могла прийти. Дождалась, когда все повторится... Я теряю человека. Прекрасного человека. С которым могла бы быть счастлива.

А эскулап знай свое:

– Не фригидность. Забудьте.

Как та скопидомка, – подумала Кларица. – Накопила сундук. Будто прок в сундуке?!

Или приборчик надо было купить, про который Вигда рассказывала? Зайти в магазин и ткнуть пальцем: – Вот этот!

Но ведь – не могла, не могла, не могла!.. Да сквозь землю скорее, чем в тот магазин! Устроена так – как себя изменить? Не с живым человеком, с подделкой!.. Как можно?

Но самое страшное... – только сейчас начало доходить до Кларицы, на четвертом часу сидения в кафе напротив Лаборатории, из которой – дождусь!? – выйдет Далбис. – Самое страшное не в том, что эскулап не помог (и не мог помочь, о чем Кларица знала заранее), и не в том магазине, куда путь ей заказан, – кому-то открыт, а вот мне – никогда! – а в том, что и эскулапу я не сказала всего. Или выше бери: не сказала себе... Что дико звучит, но когда оно так!.. Во мне что-то есть, чего я не умею назвать. Подступиться к чему – не знаю дороги.

Дорлин – вторая природа. Он посмел заменить собой Бога. Так философствовал Доб. И пока говорил, все сходилось как будто. Я – городской житель... А я?

И понадобилось еще раз сходить к автомату и купить еще банку шипучки, потому что вопрос повис в воздухе, вопиющий вопрос, но, увы, без ответа.

Вот Вигда, понятно. Она родилась в этом городе. Этот город в нее просочился, ей не надо к нему приспособливаться. Вигда и он – части одного и того же. А во мне есть что-то инородное. Я – яблоко в банке. Надеялась, думала: выйдет сбежать... А куда убежишь от своей второсортности?

Картина того, что произошло дома у Доба, стояла укором. И Кларица многое бы отдала, чтобы картину ту вымарать, вышвырнуть из памяти, замазать, заляпать, чем есть под рукой. Как замазывают гнусные надписи на стенах домов и вагонах метро. Но картина все равно проступала. Раньше, когда еще не было Далбиса, Кларице думалось, что из случившегося извлечется урок. В другой раз все-то будет иначе... И вот, дожила до другого раза. А тогда, у Доба – это было ужасно. Кларица вообразить не могла, что ее тело может подобное вытворить. Она всегда считала – да и все нормальные люди так думают: ты и твоё тело – составляют одно. Было уродливым, стало красивым... а верней, не красивым, сменилась лишь мода, то есть в чьих-то глазах что-то стало иначе, но отнюдь не моих, это тело – мое, и хозяйкою – я. Оно было моим – и моим остается! А раз я хозяйка, то мне и решать. Я хочу принадлежать мужчине. Не всякому, ясно. Но кто сказал: всякому?.. А выходит, что нет. Как можно принадлежать кому бы то ни было, если ты не принадлежишь самой себе? Когда твоё тело и ты – не просто враги, много хуже врагов. И Доб, огромный и сильный Доб – он мог это тело стереть в порошок, раскрошить, расколоть на куски – и до чего он был жалок, беспомощен. Он утешал: это просто испуг. Так бывает впервой. Я совсем не сержусь... – но она-то видела, сердится: на себя, на нее и на весь белый свет. Презирает себя: я унижен, поруган. За все, что старался, хотел предложить, – получил кусок мраморной глыбы. Там, перед зеркалом, ей представлялось: касание лишь – все во мне воспалится. Отворяюсь: войди, ты избранник, желанен!.. Но вместо этого какое-то окаменение, что-то чужое, орошенное семенем, которое в себя не пустила. И одна только мысль: дожидаться утра, пережить эту страшную ночь, – должен быть ей конец! – и пулю вон, без оглядки бежать, чтобы больше сюда никогда не вернуться.

VII

Наверное, сразу после той ночи надо было пойти к врачу.

Или к Вигде.

И не просто пойти, а выложить все, отскрести от души как со стенок кастрюли нарощую накипь...

Но для этого надо быть Вигдой, не сморкаться и хныкать в платок, а уметь называть вещи своими именами.

А я наврала. Никогда никому не врала. Улизни, промолчи, если не хочешь чего-то кому-то рассказывать. Но только не ври. Будет мерзко потом.

И было мерзко. Мерзей не бывает. Потому что, солгав один раз, надо продолжать волочить ту же ношу. Не раскрыться ж, когда сто мешков этой лжи? То есть выбраться стало уже невозможно.

На следующий день Вигда раз пять заглядывала в ее закуток:

– Ну и как там твой Доб? Мне спасибо скажи.

И Кларица сказала. Думала, сознание потеряет, когда это «спасибо» выдавливала.

– Но в первый-то вечер!?! – ничего не заметила Вигда (и это при ее проницательности). – В первый вечер – ты зря. Надо цену набить. Раззадорить. Возврат потом сторицей будет.

Поддерживать этот разговор было невыносимо. И если Кларица ненавидела когда-то кого-то, то едва ли так сильно, как в тот день свою лучшую подругу. Но и прогнать Вигду решимости не хватило, и чтобы не проболтаться, – когда соврала, ведь спасибо-то сказано, – попробовала перевести разговор на другое:

– А как у тебя в первый раз это было?

– С Лебегом? Не смейся! Ничего пока не было.

Вигда явно рассчитывала на следующий вопрос. Кабы Кларица могла вопрос тот задать. Когда все силы уходили на то, чтобы не разреваться.

– В первый раз?! – видя, что Кларица вопроса не задаст, сама себя подзадорила Вигда. – В шкафу, – прислонилась она к перегородке, отделяющей Кларичин закуток от соседнего. – Я и парня того не запомнила... В школе еще, вечеринка какая-то, и мы в прятки решили играть... Залезла в тот шкаф, ну и он там сидит...

Вигде захотелось курить, она даже достала сигарету, рассказу бы то поспособствовало, но хозяин увидит – убьет, и она ее лишь стала нюхать.

– И знаешь, – разминая сигарету, так что из нее посыпался табак, продолжила Вигда, – ничего я тогда не почувствовала. Ну, разве что с плеч как бы что-то упало. Давило, держало – и вот его нет. И теперь я могу. Теперь все-то мне можно...

Табак сыпался на пол, сигарета пустела.

– И ведь дурой была. Ну, законченной дурой. Мне и в голову тогда не пришло, что от игр таких после дети рождаются... То есть, не в смысле: не знала об этом. Но одно дело, знать, и другое – вот так все.

От сигареты осталась одна бумага, и Вигда ее скомкала:

– А может, и сегодня не намного умней? Иногда, вот, задумаешься: какая тут связь? Как может из этого что-нибудь следовать?.. То есть, что-нибудь может, конечно. Но дети? Другая какая-то жизнь?.. Чужая. Не ты. Понимаешь? Не ты?!

Но Кларица, вперив глаза в экран компьютера, которого на самом деле не видела, не понимала. Была неспособна хоть что-то понять. Мысль опять и опять возвращалась к тому же: я камень... Я просто бесчувственный камень! Говорят, кто-то там изваял Галатею – и камень ожил. Знать, такое возможно. Но со мною – совсем, ну, совсем другой случай!..

И могла ли все это сказать она Вигде? И не только Вигде. Даже эскулапу – сколько ни давила себя, ничего не выдавливалось.

И когда познакомилась с Далбисом... – если это можно назвать знакомством. Кларица переживала черные дни. Шрам, оставленный Добом, начал затягиваться. Но другого мужчину Кларица уже не ждала: обойдусь, проживу. Второй раз такого позора, такого кошмара не выдержу! В себе утаю. Вот такая я есть. Никому не должна я отчитываться.

И второсортность свою отодвинула: так ли важно и впрямь от нее избавляться? Не дорасту я до Дорлина. А нужно ли мне до него дорастать? Даже стена, что возникла на родительской свадьбе, стала видеться другими глазами: не хочу я к певице в изумрудах, и по полу ступать не хочу, потому что он точно такая ж подделка. И к официантам не хочу, которые меня презирают, хотя и берут чаевые; к музыкантам во фраках, к нарядным мужчинам и женщинам. И к дядьке из Колт-Пьери, и к внучку его. И родню свою знать не желаю. Останусь одна – ну и пусть! Лишь пустыня вокруг и песок. Как Дорлин – порву со своим окружением. Если не о чем нам говорить, нет у нас точек соприкосновения, нет общего языка. Не было, нет и не будет.

И никто не узнает, почему я так сделала. Что мои тело, душа – бесчувственный камень, и камнем останутся.

VIII

Далбис не походил на Доба: узкогрудый, сутулый, с огромной, в нарушение всяких пропорций, головой, подстриженный у какого-то халтурщика-парикмахера (очевидно, по принципу: взял бы поменьше). С седыми висками, один длиннее другого, в пиджаке с протертыми до дыр на локтях рукавами, в мятых брюках и выцветшей майке. А еще сигаретой во рту. Даже когда говорил, Далбис сигареты изо рта не вытаскивал, разве перекидывал из угла в угол губ. Запыхавшийся, куда-то спешащий, – он Кларице с первого взгляда не понравился, а вернее, она бы его не заметила, как умела не замечать проходящих мимо мужчин, даже если они и смотрели ей вслед. Но Далбис никуда не смотрел, налетел словно вихрь:

– Посиди за рулем. Я на десять минут... Полицейский придет – не заводится, скажешь.

Произошло это на узенькой улочке с десятками магазинов, киосков и лавочек, отнюдь не шикарных, где можно купить что-нибудь подешевле. Кларица в эти края частенько навевывалась. Здесь и парикмахерская, которую Вигда ей присоветовала, и обувной, и ювелирная лавка. Столики расставлены на тротуаре, за которые можно присесть, и три шкуры с тебя не сдерут, если кофе захочется выпить. Народ здесь попроще, считающий деньги: торгуется, спорит, пока что-то купит. Толчея, не пройти. Мужчины и женщины всех возрастов, мальчишки совсем и под стать им девчонки; смазливые есть; есть с ключами на пальце, во взгляде: пройдем, угол в двух шагах, не соскучишься там, будет, что потом вспомнить!.. – но Далбис почему-то выбрал Кларицу. Ростом, небось, выделялась. Усадил в машину, а сам убежал. Куда и зачем? Что за срочность такая?

От неожиданности Кларица опешила. В чужую машину – да в жизни б не села. Да и машина – еще поискать: облицовка внутри – чешуя с дохлой рыбы, на панели следы от окурков, прожоги. Все засыпано пеплом, в следах жирных пальцев. Провода и железки на заднем сиденье, замусленный справочник в драной обложке. И первым желанием, когда оказалась в этой машине, у Кларицы было что-то сломать, исцарапать стекло или руль своротить. От обиды и злости внутри все кипело, что безропотно так, нет бы, к черту послала!.. Полицейский придет, ну и что я скажу? Куда ключ тут вставлять, и того я не знаю...

Рыдван свой Далбис поставил, а точнее бросил на краю тротуара, который и так – лишь бочком пройти можно. На проезжей части образовался затор, машинам приходилось забираться на противоположный тротуар и давить там прохожих. На что те огрызались и кляли водителей. А они, в свою очередь, отыгрывались на клаксонах и, поравнявшись с Кларицей, строили рожи, стучали себя по виску и осыпали ругательствами. Поминая и мать, и отца, и мозгов, дескать, нет. Как за руль допустили?!

А подумать: за что? Будто в чем провинилась?

И Кларице уже хотелось, чтобы вправду пришел полицейский, и она бы ему: не моя, мол, машина!..

Но вместо полицейского прибежал Далбис, запыхавшийся так – дух сейчас выйдет вон, и распахнул резко дверь: выметайся, короче.

Однако не на ту напал. Кларица и сама бы ушла, но раз выметайся – держи карман шире! – и пересела на соседнее кресло:

– Домой повезешь. Заработала честно.

И Далбис повез. Сунул в рот сигарету, предварительно выплюнув догоревший окурочек:

– А ты – молодец. Я-то думал – сбежишь.

– С чего мне сбегать? Испугал меня тоже.

Все это напомнило эпизод в забегаловке для безработных, где познакомилась с Вигдой. Точно так же: на «ты», панибратски и нагло... И если бы ехать пришлось минут пять, Кларица так и осталась бы при первом своем впечатлении. Ну, постарше Вигдино ухажера, серег в

ушах нет, и когда говорит – по зубам нечем лязгать. Зато сигарета: докончив одну – минута всего, сунул в рот уж другую.

– Я адаптер купил. Для гитары мне нужно, – сквозь дым пробормотал Далбис: снизошел объяснить, зачем бросил машину. – А парковку искать – смерть скорее найдешь. Да и топай потом – час потратишь, не меньше.

– Есть получше места, – сказала Кларица. – И стоянка своя, и толпа там пореже.

– И всучат в целлофане какую-то штучку! – отмахнулся Далбис. – Дескать, хочешь новей – все равно не найдешь! А я за старьем охочусь. Лишь здесь оно водится.

На что Кларица пожала плечами: все равно машину можно было запарковать, где положено, а что до адаптера – что за штука такая? – да и старый к тому же, подержанный, значит, на новый, видать, не скопил капитала.

– У меня есть приятель, на гитаре играет, – отреагировал на это пожатие плечами Далбис. – Не любит он новшеств. Ему чем древнее – тем лучше.

– А новый чем плох?

– Звучит, понимаешь, не так. Новый я и сам могу сделать. А ему – старье подавай.

– Капризный у тебя приятель. С характером.

– Да, – согласился Далбис. – Капризный. Гении – все капризные.

И Кларица замолчала. Не собиралась она Доба с Далбисом сравнивать, но как-то само получилось. Хотя и забыть Доба надо, но как не крути, вся страна на него по телевизору смотрит. И тоже всякие байки рассказывал, да вот только о гении не заговаривал. В джунглях живем. Брат-профессор хребет в этих джунглях сломал. А Далбис, – и Кларица критически оглядела его с ног до головы: брюки забыл, когда гладил, майка второй-третьей свежести, – и о гении вдруг. Пускай и не сам, мол, не я, но с гением все же якшаюсь.

Минут пять ехали молча. Не тот разговор, чтобы хотелось его продолжать. О нормальных вещах – почему бы и нет? – а о гениях если – вода это в ступе. Тем более с таким вот субъектом. Ниже Десятого этажа Кларица сотни таких навидалась.

– А везти-то куда? – закуривая новую сигарету, спросил Далбис.

– На Седьмой.

– На Седьмой? – и в голосе его прозвучало даже не удивление, а что-то уничижительное. – Ты там живешь?

– Да, живу! – и не подумала увиливать Кларица.

– А чего не на Пятом?

– А что есть на Пятом? – приготовилась она к обороне. – Не все небожители, есть и пониже.

Но Далбис, похоже, не собирался на нее нападать.

– А действительно, что есть на Пятом? – зачем-то повторил он и посмотрел на Кларицу. А то все вперед: на дорогу, на очередь, в которой застряли перед въездом в шахту спирального лифта. – Я вот тоже так думаю: почему Дорлин устроен на манер кружки с пивом? Ведь пена – не самое вкусное.

Но Кларица так не думала, что Дорлин похож на кружку, тем более с пивом, которого она терпеть не может.

– У меня о Дорлине свое мнение, – сказала она. – И не надо мне с чужого плеча.

Однако Далбис оставил ее реплику без внимания.

– По дороге нам, значит, – сбил он пепел с сигареты в окно. – Тебе на Седьмой, ну а мне, вот, на Пятый.

И теперь настал черед Кларицы себя небожителем выставить:

– Ты на Пятом живешь?!

– Не живу... Хотя, впрочем, кто знает?

Вращающийся пол спирального лифта кружил всегда голову. Скорее всего, с неприличиями. Не часто Кларица сюда попадала. Он – привилегия тех, кто не ходит пешком. А Кларице на покупку машины еще год или два наскребать. Стены спирального лифта, в отличие от обычного, где лишь чернота за стеклом, испещрены рекламой. Такими же экранами, как и на улице. И все-таки в шахте они создают другую совсем атмосферу, с претензией на интимность, от которой бы лучше сбежать. Возникающие на них лица заглядывают тебе прямо в душу. Лохматый парень, на миг оторвавший глаза от гитары. Певичка – где рот уже вовсе не рот, а отверстая бездна, в которой разглядывай недра и гланды. Или Борец за свободу Флетонии (попросту боф), что вот-вот доберется до крыши города. На кой ляд ему крыша? А чтобы убить Президента!.. – вся морда в подтеках, кровавых и синих, и желтых в придачу, и в сонмище шрамов. И все эти уроды: лохматый, певичка и боф, – наперебой предлагают какие-то вещи: уют или майку, помаду ли, сумку, – остается всего лишь рукой протянуть. Фейерверки надписей брызгают красками. Промелькнет кто-то с блюдцем под мышкой. И снова гитара, певичка, подтеки. И при этом при всем погружение: виток за витком, ты все ниже и ниже. Слово город от тебя избавляется, отработанным шлаком спускает в отбросы. Напоследок: смотри, чем я горд, чем я полон. Поделиться хотел, ну а ты отказалась... И хотя Кларица ни от чего не отказывалась, ни от помады, ни сумки, но ощущение все равно такое, будто что-то от тебя ускользает, что-то неназываемое. Не сумка же, вправду? Что-то несостоявшееся, что могло состояться, могло иметь имя, да вот не далось и прошло меня мимо. И, наверно, поэтому Кларица придвинулась к Далбису – подальше от стен: мол, отстаньте! А ну вас!

На Вигдинога ухажера Далбис тоже не походил. И не только отсутствием серег в ушах и болта в языке. Там – дремучесть во всем, от прыщей на лице до подошвы ботинок, помноженная на надменную самоуверенность, под которой трясина, болото, ничто. И самое странное – хотя, в общем, не странно, Кларица уже перестала многому в Дорлине удивляться, – что таких типажей словно рыб здесь в пруду. Чем они занимаются? На какие средства живут? Родители деньги подкидывают? Сидят днями в кафе, забегаловках, шипучку сосут, пивом балуются. С девчонками, вроде Вигды, разговоры ведут. Но о чем говорят, о чем спорят? Восклицания какие-то, не разговоры, а выкрики: имена слирпистов перечисляют, кто у кого вчера выиграл; как боф на стену карабкался, и что его восхождение третий вечер подряд по телевизору крутят. И хохмы Руго Мансата по этому поводу – комментатора сих восхождений. Про политику могут, но опять – имена. Или что биржа вдруг в гору пошла, а на прошлой неделе – упала! О ценах: где, что и за сколько купить, и в прибыли, ясно, остаться. О Музыкальном Конкурсе, что раз в год Лалси Хурдал устраивает. И еще – все они каждые две минуты хватают мобильники и кричат в них все то же, что орут за столом, а наоравшись, хохочут, будто кто-то и что-то сказал вдруг смешное. Все это по приезде в Дорлин Кларица и приняла за иностранный язык. Да он, собственно, и впрямь иностранный. Слова в нем флетонские – езжай из Дорлина на север, на юг – точно те же услышишь. Но там они смыслом каким-то наполнены, говорящий их в предложения складывает, а здесь: «Ну, даешь!», «Пополам!», «И с копыт!», «Скипидару под зад!», «Лебег!», «Боф!», «Лалси Хурдал!»...

А может быть, это и есть семья, со словечками, жестами, членам семьи лишь понятными? Или племя – с чего все когда-то пошло?

На Доба Далбис не только статью не походил: силенок чуть-чуть, не красив, да и ростом не вышел. Кларица и без каблуков его выше. Но самое удивительное – если было тут чему удивляться, – это печать на всем его облике, что небрежность в одежде только подчеркивала, печать какой-то растерянности: словно минуту назад приключилось что-то ужасное, неприятность – страшней не придумаешь, исправить которую – надо бежать, – а то, час не ровен, еще выйдет хуже... Но хуже – чего? Бежать надо – куда?..

– Я нигде не живу, ни на Третьем, ни Пятом, – в какой-то момент заговорил Далбис. Но в какой именно, Кларица прозевала, лифт спиральный отвлек, и еще размышления: спуск в

преисподнюю... – Бездомен, короче, – несколько раз повторил Далбис. – Но о чем – никому. Притворяюсь, что все у меня замечательно. Умело так делаю вид.

Хотя в чем заключается его умелость, осталось неясным: за версту ведь разит, что живется тебе, ох, несладко.

Очередная порция красок плеснула Далбису на лицо, сделав его мертвенно бледным. Лишь розовый контур, очертивший выпуклый лоб, торчащие ежиком волосы, острый нос и выдающийся вперед подбородок, – контур стал багроветь, будто другая половина лица, сейчас невидимая, сплошная кровавая рана...

Нет, Кларица догадалась, что это проделки экранов, и все же не смогла просто так отмахнуться:

– Почему нигде не живешь? – спросила она.

– А я убежал, – снова глядя вперед, будто было куда там смотреть, ответил Далбис. – У юнцов это в моде: послать к черту кров, и мотаться по свету, прожигать даром жизнь.

– У юнцов? – переспросила Кларица.

– Да, у юнцов.

Хотя Далбис совсем не походил на юнца. Но о возрасте Кларица решила не спрашивать.

– Не похоже, что ты прожигаешь, – сказала она. – Вот, адаптер купил. Понятия не имею, что это такое. И все же – о друге заботишься.

– Да и я так считал.

– Почему в прошедшем времени?

– Потому что потом перестал.

– Разочаровался в друге?

– Нет... Впрочем, да.

– А чем ты вообще занимаешься? – не отстала Кларица. Вопреки самой же себе. Прекрати разговор – но нет же, зачем-то его продолжаю.

– А-а! – бросил окурок за окно Далбис. – Ерундой. Даже стыдно сказать. Мы копируем разные глупости.

– Кто это – мы?

– Лаборатория Совора Лондока – есть такое якобы научное заведение. Там, кроме меня, еще человек двадцать работают.

– И что же вы копируете?

– А все, что закажут. Коробку спичек могу. Зажигалку, к примеру, – запалил он новую сигарету.

– Зачем? – не поняла Кларица.

– А чтобы деньги платили.

– Но если глупости, говоришь, кто же платит?

– Платят. И еще сколько платят!

Отвечал он без утайки: про что спросишь, про то и скажу, – и все-таки создалось впечатление какой-то недоговоренности, или, скорее, чего-то неточного. Как пригоршню камней бросишь в воду, хотела во что-то попасть, а камни разлетелись вокруг: какой-то подальше, какой-то поближе, – но все не туда, мимо цели.

– Серьги у тебя красивые, – вдруг посмотрел Далбис на Кларицу, но не так, как смотрел у магазинов, когда налетел: посиди, мол, в машине, – а будто решил отыскать что-нибудь примечательное.

– Знаю, – повернула голову Кларица, чтобы показать и другую серьгу. – Не все в них одинаково, один камень поменьше немного, зато ручная работа – нельзя точка в точку все сделать, – при этом подумав: пусть не только на серьги посмотрит.

Но Далбис посмотрел лишь на серьги:

– А представь: потерялась одна!

Кларица даже вздрогнула от такого предположения, и потрогала уши:

– С чего это вдруг? Крепко держатся.

– Я так, для примера. Что бы ты стала делать?

– А что можно сделать? – пожала плечами Кларица. – Пошла в магазин и купила другие...

– И вот неправда, – перебил ее Далбис, – не в смысле, другие купить невозможно, а в смысле, потерю восполнить. Одна-то осталась. И приходишь ты с этой, одной, ко мне... Или к Совору Лондоку, и он говорит: а ну-ка, Далбис, сними с серьги этой копию, чтобы вышла точно такая же.

– Этот Совор Лондок умеет серьги делать?

– Хм! – хмыкнул Далбис. – Ничего он не умеет. И я не умею. Весь тут фокус в кристалле – вырастил я такую штуковину, – и с его помощью компьютер, машина, может повторить что угодно: спичку, гитарный адаптер, да гитару как есть, целиком. Так повторит – не отличишь. А тем паче серьгу – да ему то раз плюнуть.

– И между серьгами не будет различий?

– Никаких, – снова напустил дыму Далбис. – Это будет одна и та же серьга.

– Но ручная работа?

– Была ручная.

– И за это вам платят, – все поняла теперь Кларица.

– Именно, – вдруг почему-то поник Далбис, будто в плате за подобные услуги есть что-то унижительное. Хотя минуту назад в голову не могло бы прийти, что Далбиса можно чем-то унижить.

– А ты говоришь, даром жизнь прожигаешь, – попробовала поднять его настроение Кларица.

Но безуспешно. Экраны снова брызнули светом, сделав контур его лица бледно-зеленым, каким-то кукольным.

– Сколько тебе лет? – не удержалась Кларица, о чем поначалу не хотела спрашивать.

– Сорок два.

– У-у-у, – протянула она. – А мне показалось, ты гораздо моложе.

– Бездомность, – ответил Далбис. – Бездомность всегда молодит.

– У тебя, что же, вправду нет дома?

Но на этот раз вместо ответа он вдруг схватил ее за руку:

– А давай-ка махнем в «Дирижабль». А домой – я потом отвезу, – и, не дожидаясь согласия, пропустил выезд на Седьмой этаж.

Можно было, конечно, руку забрать и сказать ему: нет. Много всякого можно было сказать или сделать... Да только почему-то не сказала, не сделала.

IX

«Дирижабль» произвел на Кларицу странное впечатление. То есть сначала она вообще не поняла, о чем идет речь, и куда ее Далбис везет. Объяснить он не смог или не захотел, так что пришлось разбираться самой. Когда подъезжали к этому «Дирижаблю», у Кларицы возникло желание выпрыгнуть из машины и бежать куда глаза глядят. Какая-то свалка: груды разбитых машин; облезлые, тощие коты, которых дави, но не сгонишь с дороги; тут и там шевелящиеся тени – люди, не люди? – скорей, привидения. Да и когда подъехали совсем близко: черепаший панцирь какой-то, разве огромный, обложился со всех сторон валунами и подпирает потолок над улицей, будто без его усилий потолок может рухнуть. А сам: там и сям рассекли его трещины, иные такие глубокие, что те же коты сквозь них могут пробраться. Но когда наконец-то вошли, не через щель, через дверь (а Кларица ничуть бы не удивилась, потяни Далбис ее через щель), внутри этой кариатиды оказалось светло – не то, что бы очень, но после мрака, царящего снаружи, этот свет показался живительным. Нечто подобное переживает, наверное, путник в ночи, – занесло бог весть знает куда, – потерявший надежду увидеть хоть что-то... А здесь – столы, как в кафе, отнюдь не шикарном, но чистом и убранном, за которыми сидят люди, без изыска, просто одетые. Отправляясь сюда, явно не наряжались. Одежде в этом кафе – если все-таки это было кафе – не придавали значения. Но в лицах у этих людей – в первый момент Кларица по ним лишь скользнула в полглаза – было что-то такое – нет, не похожесть, но что-то роднящее. Отчего тут же отсветом вспомнилась свадьба родителей, там Кларица тоже увидела общность, и, больше того, поняла: я часть этой общности, я похожа на всех этих теток, дядьев, – чего застыдилась, и от чего захотелось бежать. Точь-в-точь как со свалки разбитых машин. – Руками, ногами я буду цепляться, но от этих людей я должна отделиться. Претят мне их кровные узы. В конце концов, все люди произошли от Адама и Евы. Претит, что все эти тетки с дядьями отстали от времени и не желают его догонять. Они – яблоки в банке, какими навечно останутся. – И именно этой законсервированности не почувствовала Кларица, когда взгляд вернулся к людям, сидящим за столами «Дирижабля». – Они – не семья. И не племя тем паче. И все-таки что-то их связывает. Выражением глаз, позой, ростом, осанкой они эту связь излучают. В повседневной одежде, отнюдь не нарядной, держат себя легко и раскованно, и в этой раскованности не походят один на другого.

Что явилось открытием: непохожесть, различия – могут роднить!

Они – не лилипуты, – подумала Кларица. – Они выросли в Дорлине, они – его дети, и могут говорить с ним на «ты».

С чего она это взяла, было не очень понятно, разумного объяснения не нашлось. Но Кларица и не стала его искать, она так почувствовала, а чувство есть чувство, ему не прикажешь.

Она где-то слышала, что первое впечатление бывает всегда самым верным. Потом его можно подправить, но сущность уже не изменишь.

А может, и не надо менять? Ведь и меня влекло в Дорлин – обрести здесь свободу, хотя вслух никогда никому я этого не говорила. А раскованность этих людей и есть свобода. Называй ее общностью, как-то еще, но в первую очередь это все же свобода, а свобода у каждого – разная. По природе своей она не может быть одинаковой. Как неодинаковы те, кто ее обрели. Что здесь причина, что следствие, – черт ногу сломает. Но, судя по лицам этих людей, они о том не задумываются. Да и зачем? О свободе мечтают, когда ее нет, а когда она есть – ее принимают как данность, как нечто само собой разумеющееся. Да она и вправду – само собой разумеющееся. Она – самое нормальное и естественное из всех состояний, какие только возможны, для тех, кто умеет дышать, слышать, видеть. И грезить еще. Как-то можно без грез?

Мысль оказалась новой и неожиданной: выходит, я всегда это знала и скрывала от самой себя, убеждала в одном, а на сердце носила другое. Не затеряться в многолюдии Дорлина, не спрятать свою некрасивость, я хотела свободы, жить просто без пут.

Далбис провел Кларицу через зал и усадил за столик в нескольких метрах от сцены, на которой стоял тощий, как микрофонная стойка, парень и играл на гитаре. Но слушать его не возникло желания. Да он, собственно, и не играл, а паясничал: дернет струну и о чем-то задумается. И Кларица от него отвернулась: люди, привлечшие ее внимание, остались у нее за спиной, хотя рядом со сценой – садись, все свободно.

К этим людям влечет, – подумала Кларица. – Так сразу и вдруг потянуло, – что тоже чувство, и снова необъяснимое.

Я для них, очевидно, пятно, в своем ярком платье, с серьгами в ушах, в прическе, какая во сне им не снилась...

Потому что им снятся другие сны!..

И снова пришлось задуматься, и даже подстегнуть воображение: а вот заглянуть хоть разок! Подглядеть эти сны, не мои, а чужие!.. – но не получилось, ни задуматься, ни подглядеть. – Влечет-то влечет, и все-таки я им пока не своя.

Почему?

Вигда научила меня одеваться по-дорлински и ходить, будто ходишь по струнке, но все это – внешнее, только обертка. Да явись я сюда в сарафане от бабки...

И с сарафаном далось много легче: Кларица представила себя в сарафане, в каком, по приезде в Дорлин, стеснялась выходить на улицу.

В сарафане я им бы скорее понравилась...

Но мысль не додумалась.

И не буду додумывать! – отмахнулась Кларица, потому что почувствовала – ишь, снова чувство! – что ступает по чему-то острому, с чего легко соскользнуть или пятки порезать. – Чего доброго, если додумаю, перечеркну ощущение близости...

Ощущение новое, о котором так сразу не скажешь: я рада ему или нет. Не вяжется оно с шикарными магазинами, где хотелось – ведь вправду хотелось! – однажды купить себе платье.

Я рассуждаю, как Вигда, – попробовала подступиться Кларица с другой стороны. – Но я ведь не Вигда. Да и кто сказал, что Вигда права? Мне нравится, что ее восприятие жизни не совпадает с родительским, что смотрит на мир она другими глазами. Нравится ее свобода суждений, умение называть вещи своими именами...

Но дальше-то что? Ну, назвала – а дальше?

Или это еще не свобода?

А люди в невзрачных повседневных одеждах свободны. Сидят и ничто никому не называют. Захотели – сюда вот пришли. У них есть какая-то цель, есть что-то еще не достигнутое. И не платье отнюдь – да плевать им на платье! Их влечет к себе что-то другое...

И снова – отказ. Снова воображение спасовало: это, «другое», не далось, не представилось.

И все же меня от них не отделяет стена! Несмотря на прическу, на серьги. Я могу сейчас встать и к ним подойти – и они меня не прогонят. Да какой там прогонят, я могу их спросить: о чем захочу, о том и спрошу, – и они мне ответят.

Я найду с ними общий язык!

Каждое следующее предположение было смелее предыдущего, словно подъем по какой-то невидимой лестнице: шажок, еще два, и четыре шажка. И каждая новая ступень – уход от чего-то. Но от чего-то такого, с чем не жалко расстаться, от чего-то во мне устоявшегося. Но не того устоявшегося, что лежало, ждало в сундуке, – с сундуком сведены давно счеты, – а отвоеванного, на что были потрачены силы. Чего испугайся, ведь страх потерять. Но страх почему-то... – не чувствую страха.

Потому что эти люди не станут орать во все горло, не опустятся до ужимок, гримас, не станут выкликать междометия и перечислять имена или цифры...

Что снова, опять – только чувство. Чему нет подтверждения. Какого-то вещественного доказательства, что можно взять в руки, ткнуть пальцем: смотри!

И Кларица, в который уж раз, принялась шарить глазами: по лицам, одежде, столам.

Нужна какая-то вещь, какой-то предмет, пускай символ предмета, но что-то, за что я смогу ухватиться, и с чего вести счет!..

И символ нашелся! И быстро довольно, так что даже захотелось подпрыгнуть на стуле, до того очевидный, простой, – у этих людей нет мобильных!

И стало смешно: вот уж, правда, находка! Я нашла символ – отсутствие символа!

Но Кларица была бы не Кларицей, если бы не попробовала взглянуть на все это еще и с третьего бока:

А вдруг эти люди просто бедны, настолько бедны, что не могут позволить себе подобную роскошь?..

Но нет, не годится. Во-первых, потому, что ежели бедность и вправду ответ, то все мои поиски были напрасными. А они не напрасны. Те сосунки, и не только сосунки, что не отнимают мобильник от уха, да они себе лучше в одежде откажут, хлеб без масла на завтрак, да зубы на полку, – но лишит себя права трепать языком? Молоть всякий вздор? Говорением этим заткнуть пустоту, потому что заткнуть ее больше им нечем. От чего эти люди, что сидят за столами, отказались, причем добровольно. Что уже есть второе: в них нет пустоты. Им не надо ее затыкать.

А что такое мобильник? – понесло Кларицу дальше, вопреки желанию, потому что не собиралась она об этом размышлять. Но раз понесло, противиться – нет, я не стану. – Он – возврат к подобию связей, к тому ритуальному, что возникло еще до костра, до пещеры. Он – подмена нормальной человеческой близости, подмена тепла. Он освобождает от необходимости видеть друг друга, касаться руки или быть просто рядом. Он попытка бежать от себя, но бежать в никуда, ни к кому. Набить ватой звуков пространство и время. Именно звуков, не слов, потому что слова содержательны, а те, кто орут в микрофоны мобильных, орут не слова, оболочки от слов: «Как дела?», «Ничего», «Как живешь?», «Все нормально»... – и Кларица вдруг поймала себя, что когда у нее оказывается в руках тот же самый мобильник, она начинает говорить приблизительно так же. И, наверно, поэтому никогда никому не сообщала по телефону чего-нибудь важного. А бывало, случалось, хотелось сказать, обсудить, уточнить, и все-таки оставляла все это до встречи: увидимся – скажется. А по телефону это, важное, не выговаривалось, разговор как вода тек все ниже и ниже, становился вторичным, пустой тратой времени. А если пустое, зачем продолжать? Да взять эскулапа – не стала звонить, а пришла и уселась напротив. И к Вигде всегда – прибегу в закуток. И с Далбисом, вот, прилетела, примчалась. Потому что, даже если дозвонюсь, и дождусь – он ответит, – все равно это будет не то. Стоять надо рядом, ощущать человека, и смотреть ему прямо в глаза.

И эти вот люди в невзрачных одеждах, – взгляд к ним словно прилип и не мог оторваться, – кто-то из них ел и пил, другие сидели за пустыми столами. Курили, кому хотелось курить, иные дремали – чего не вздремнуть? – после свалки на улице и облезлых котов здесь тепло и уютно, – они либо сидели молча, либо обменивались редкими фразами, которые произносили тихо, так тихо, что Кларице не было слышно ни слова. Что ничуть не смущало, потому что и не должно быть слышно, потому что суть человеческих отношений – интимность. Чего в мобильнике нет, и чего вокруг столов в преизбытке, так много, что избыточность эта заставляет густеть атмосферу, и не только над столами, за которыми сидят эти люди, а во всем «Дирижабле», – что Кларица физически почувствовала, – заставляет делаться эту атмосферу похожей на ауру, что всех роднит и сближает. Словом, становиться такой, какая не снилась племянникам с тетками. Там, на родительской свадьбе, не то что бы ауры, отблеска не было, там всех

обступал разреженный воздух, в который говори ли, кричи – как в вакууме, гаснут все волны. Там никто никого не слышал, да и не хотел слышать, даже когда вел речь о связи, от которой осталась одна только видимость. Кичился родством – и таился под маской. И даже комплименты, которые Кларица по недоумию приняла на свой счет, и дядька, что сватал внучка... Ведь не связи искал, а хотел заключить просто сделку – ты мне, я тебе: «гульнешь с ним», «билеты», «выходной обещаю»... А там, где не сделка, всего ритуал, соблюдение правил, смысл которых давно канул в Лету. А здесь, в «Дирижабле», всё – как оно есть. Не в смысле: зовется своими именами, а никак не зовется, зачем имена. Эти люди пришли и расселись вот здесь не для того, чтобы праздновать юбилей. Еще меньше купить и продать, соблюсти кем-то что-то предписанное. И не время убить, не от нечего делать. Они пришли потому, что не могли не прийти, их сюда привела какая-то сила, какая-то цель, с какою в обычные кафе не приходят.

И только передумав все это, Кларица, наконец, посмотрела на сцену, – всему свой черед, – на парня с гитарой. И в то, что лишь стало так ладно выстраиваться, обретать очертания чего-то законченного и гармоничного, вдруг влез диссонанс. Парень Кларице не понравился.

Длинноволосый, жирные слипшиеся жгуты не волос, а каких-то веревок, закрывали ему лицо, он тряс головой, убрать эту ветошь с лица, но она тут же падала снова, и было непонятно, как он что-нибудь видит. Потертая, с заплатанными локтями рубашка, кое-как заправленная в штаны, походила, скорей, на мешок с рукавами. Под ремнем гитары мешок съехал на бок, оголив впалую грудь музыканта, на которой без особых усилий можно было сосчитать все ребра, обтянутые кожей цвета пергамент. Гитару парень держал по особенному, слишком высоко и поближе к глазам, под волосами невидимым, словно боялся ущипнуть не за ту струну или прижать пальцы не к тому ладу. Но все равно непрерывно промахивался, и каждый раз гитара вздрагивала в его руках, как испуганная, и не издавала ни звука, зато потом, словно наверстывая упущенное, выстреливала пулеметную очередь нот, разгоняясь быстрее и быстрее, звучала все громче и громче, отчего возникало желание заткнуть уши. А парень тогда запрокидывал голову. Волосы с его лица наконец-то спадали. Сидящих в зале он не видел, да, похоже, и не хотел видеть. Теперь он смотрел в потолок, утыканный редкими светильниками, и на фоне белой стены (все немногочисленные фонари почему-то светили гитаристу за спину) четко очерчивался контур его лица: угловатые скулы и острый, как лезвие, нос. Будто этим носом он собрался вспороть что-то в зале. Ту самую атмосферу интимности, созданную людьми, пришедшими его слушать.

А они – слушали, – Кларица снова повернула голову. – Одни делали это молча, не двигаясь, другие – шевеля чуть губами, третьи – отбивая ладонями такт. Даже те, кто курили, пускали дым в унисон его музыке...

Музыке, которой тут нет!

Кларица еще раз прислушалась:

Нет и в помине.

Неухоженность гитариста, штаны, не знакомые с уютгом, мешок, где должна быть рубашка, – все это Кларица могла бы простить. Очевидно, нет женщины, что за ним присмотрела бы. Но что и как он играет?!.. Звуки, с хаотичными интервалами вырывающиеся из расставленных на сцене динамиков (гитара была электрической), музыкой не были, а скорее, каким-то механическим шумом: стрельбой пулемета, ударами чего-то железного о железное, скрежетом стекла по стеклу. Разве паузы были настоящими, до звона в ушах беззвученные. Но всё, кроме пауз, нагромождение даже не аккордов, не нот, а чего-то бессвязно-бесформенного. И вообще создалось впечатление, что парень не столько играет, сколько тужится что-то сыграть, терзает себя и гитару, вымучивает намек на мелодию, что ему – ну никак – не дается. Да и знает ли он, что такое мелодия, умеет отличить мажор от минора? Ключ басовый, скрипичный и россыпи нот – как пишут все это на нотных линейках? Легче всего предположить, что не знает. Но тогда это должно его раскрепостить: бей по струнам, пока не порвутся! –

однако раскрепощенным парень не выглядел. Он, скорее, комплексовал, был затиснут в какие-то рамки. Кларица додумалась даже до того, что он только вчера обзавелся гитарой, первый раз в жизни взял ее в руки, и – ну удивлю! – с нею сразу на сцену. Руководствуясь принципом (если есть тут какие-то принципы): а чем черт не шутит, а вдруг что-то выйдет!?

Нет, Кларица многое могла бы простить и даже проявить снисхождение, если бы рядом, на сцене, сидел, предположим, маэстро, и поправлял и подсказывал: тут счет на три четверти; ля ты прошляпил; бемоль, не диез – неужели не слышишь?..

Кларица помнит, как покорила родителей пением на одном из школьных утренников. Но не вышло из Кларицы певицы, не могло выйти. Есть вещи от Бога, и если чего Он не дал, в аптеке не купишь. Кларица это поняла вскоре после того утренника, хотя родители и отправили ее к учителю пения. Больше года ходила. Отец не скупился. И горько было принять, что петь я не буду. Но не принять – еще горше. Обнадежить себя, одурманить иллюзией, напрасно потратить силы и время, чтобы в итоге никуда не прийти. Узнать себе цену, когда уже поздно. Учитель был так себе, лишь бы деньги платили. И Кларице пришлось самостоятельно принимать решение. Чему родители изо всех сил противились. Их восхищение было искренним. Они хотели себя обмануть. Да и практическая сторона дела: не бог вещь какая, но все же специальность. Иди, угадай, как-то жизнь повернется. То есть их можно было понять: они желали увидеть в своем чаде больше, чем есть в нем на самом деле. Но это самообман из чувства любви, с примесью корысти, и все же любви, которая часто застит людям глаза. Чего Кларица, хоть убей, не могла разглядеть в происходящем на сцене. Здесь это походило на розыгрыш, на какое-то злое паясничанье, желание кого-то передразнить, свести с кем-то счеты.

Но собравшиеся – ведь всего минуту назад они в Кларице пробудили симпатию – отнюдь не родители и авансов с надеждами раздавать не должны. Тем не менее – слушают. Им все это нравится. Им хочется быть соучастниками...

Мысль о чем Кларица отсекала как ножом: невозможно такое, не хочу соучаствовать! Соучастие в зле – наказуемо...

Хотя не наказания испугалась и не роли судьи, – какой я судья? – а того, что подобное соучастие разрушительно. Для обеих сторон. У одной безнадежно испортится вкус, а у другой возникнет уверенность, какой быть не должно: я не бездарь, я стою чего-то. Оттого и просел черепаший панцирь «Дирижабля» и покрылся трещинами, потому что замахнулся: удержу потолок! – на что прав не имел он замахиваться. Если хочешь добиться чего-то, сперва овладей, научись. Ребенка отправляют в школу, и только потом он становится профессором, а не профессорствует, потому что того захотел. И так абсолютно во всем, до мелочей: хочешь стать стряпухой – научись сперва стряпать, хочешь стать женщиной – отыщи в себе женщину, хочешь стать мастером – засучи рукава, потрудишься до десятого пота. И все это не на пустом месте. Расслышь в себе зов, разберись: совпадает с твоим он устройством. А вдруг ты чиновник, а вдруг ты слирпист – и тогда зарекишься: не пойду я в артисты. Не насилуй себя, и другим не позволяй себя насиловать. Подумают лишь – тут же дай им отвод. Ты должна стать лишь тем, к чему ты назначена.

«Надо слушать себя, – вспомнились слова Лебега. – Косой Сажень не послушал и вышел на поле»...

Так и этот, с гитарой.

Хотя не хотелось о Лебеге вспоминать, и о Добе тоже не хотелось. Но верно сказал. Подика поспорь.

Так и музыкант должен прежде услышать себя, и, только услышав, сделаться музыкантом. Из того, что ты есть, чем тебя наделила природа, отобрать и собрать: композитор – композитора, слушатель – слушателя. И тогда один сможет играть, другой – сочинять, а третий – судить: удалось или нет, хороша вещь, плоха, виртуоз ты иль так, трень да брень на гитаре. А копать в ошибках, сопереживать неумению, отсутствию музыкального слуха – наступил человеку мед-

ведь на ухо, – умножать только зло, которого в мире и так предостаточно. А парень не хочет этого знать, продолжает терзать и мучить гитару. Подступится эдак, подступится так, будто впрямь обзавелся ею днем-двумя раньше. Сопереживай или нет, ни ему, ни себе не сможешь, а лишь развратишь себя и его. Развратишь ожиданием, ни на чем не основанном, подаришь надежду, которой не сбыться. Есть препятствия, через которые надо пройти, вершины, которые следует взять, и все это сделать обязан ты сам, они требуют воли, усилия, веры. И, конечно, платформы, скелета, каркаса: на чем я стою, и на что мне наращивать мясо.

Но люди, сидящие за столами, – нет, Кларица начала в них разочаровываться, – что за такт они отбивают? Где его отыскали? Придумали просто? Или хотят взвалить на себя то, с чем не справился гитарист? Дескать, мы за тебя, ты начни, лишь начни – а мы подсобим, мы подсказем, продолжим. Когда продолжать-то нечего. Разве уподобиться этому неучу, поступить, как он? Ведь вы такие же музыканты, как он – виртуоз, – уже совершенно другими глазами смотрела на людей за столами Кларица, – что если не прекраснотушие, то шарлатанство, во всяком случае, не сопереживание, а диктат. Вопрос только: кто кому больше диктует? Так предъявляют ультиматум, так ставят условия, не утрудив себя прежде подумать, а можно ль условия выполнить.

Так Добу взбрело насладиться женщиной, расслабиться после беготни с блюдцем по полю, а я не смогла ему в этом помочь. Он мне приказал – а в ответ ему камень: мое тело меня оказалось умней.

Или Вигда: могу! Захочу – все могу! Поманю только пальцем – и все мужики мотыльками слетятся!

Но не те мужики. И летят не туда.

А я – все в сундук. И накоплено – тьма. Но что делать с добром – до сих пор я не знаю. И все же – мелодия, ритм?..

И Кларица снова посмотрела на сцену: по правую руку от гитариста, склонившись над клавиатурой органа, лохматый и потный сидел человек, этаким пончик небольшого росточка, и что-то беззвучно наигрывал... То есть сам он, возможно, и слышал, что он играет, но Кларица, кроме гитары, все равно ничего не могла различить. Разве удары барабана, – что заставило поискать на сцене еще кого-то. И действительно, в глубине, куда свет доходил еле-еле, за десятками барабанов, – никогда Кларица не видела сразу их столько, – обосновался еще один музыкант. Оттуда и такт, – наконец-то нашлось объяснение. Но чем он его отбивает? Руки его бездействовали. А рядом с барабанщиком стояла женщина, которая и вовсе ни на чем не играла, а просто стояла...

– Это – мой дом, – сказал Далбис. – Последняя крыша. Другая не светит.

И Кларица обратила взгляд к потолку, раз зашла речь о крыше, к потолку, который произвел впечатление примерно такое же, как и внешний вид «Дирижабля»: тоже весь в трещинах, разве не таких глубоких, коты не пролезут, но если оттуда посыплется штукатурка – то будет в порядке вещей. Даже странно, что этого до сих пор не случилось. Потолок повторял форму черепашьего панциря, незаметно переходил в стены, разрисованные граффити, без особого полета фантазии: нотные линейки; ключи – басовый, скрипичный; корявые пальцы, лежащие на струнах гитары; микрофон, обведенный кругами.

Далбис пошел к стойке (была здесь и стойка) и принес два бокала вина.

– Тебе о чем-нибудь говорит имя – Овилан Кнайхет? – спросил он.

– Нет, – призналась Кларица.

– Вот видишь. И я ему то же твержу. Не знают тебя. А обязаны знать.

«Ему» – относилось, очевидно, к парню на сцене, его и зовут Овилан Кнайхет, хотя Далбис, когда это сказал, даже не посмотрел в его сторону.

– Но для этого сделай что-нибудь, пойдешь им навстречу!

– Кому «им»? – не поняла Кларица.

– Ну, таким вот как ты.

На что Кларица хотела обидеться: таким вот как я, второсортным, короче... – и обиделась бы, если бы углядела в Далбисе желание обижать. Но такого желания не было. Далбис выглядел человеком невероятно усталым. Что Кларица заметила еще в машине, а сейчас подумала, что он похож на загнанную лошадь: нет сил, а бегу, кто-то гонит бежать. И его короткие, отрывистые фразы – следствие этой усталости. На более длинные ему просто не хватает дыхания. Отчего и недоговоренность, которую Кларица приняла за укор.

Он выпил вино, и снова сунул в рот сигарету.

– Посмотри на его гитару, – все так же, не поворачивая головы, сказал Далбис. – На точно такой же гитаре играл Выскочка Эдд. Ты знаешь Выскочку Эдда?

– Слышала, – призналась Кларица. – Но он давно умер.

– Он был гением. Раз в сто лет такие рождаются.

На что Кларица промолчала.

– И я ее скопировал, гитару Выскочки Эдда. Да что скопировал – я ее повторил. Это не копия гениальной гитары, это она сама, ее клон.

Но Кларица ничего особенного не увидела: гитара как гитара, разве не очень новая, с залысынами на грифе, с растрескавшимся лаком на деке, такая же неухоженная, как этот Овилан Кнайхет.

– Нельзя угодить сразу всем, – тем же голосом уставшего человека продолжил Далбис. – Это я понимаю. Но ловкий маневр, прикинуться просто, – и бросил взгляд на Кларицу с явной надеждой, что встретит поддержку, а то до этого разглядывал кончик своей сигареты.

И Кларица почему-то кивнула, хотя о каком маневре идет речь, для нее осталось загадкой.

– А потом уходи. На то ты и гений, – удовлетворенный кивком, закончил мысль Далбис.

– А почему ты считаешь, что твой Овилан Кнайхет – гений?

– Не знаю. Честно сказать, не задумывался. Однажды услышал его игру – и все, в меня это вселилось.

– А если ты ошибаешься?

– Нет, – покачал головой Далбис, чересчур большой для его тщедушного тела. Словно тело усохло от вечной погони за какою-то призрачной целью, а голова не далась: суета, не поддамся я суетному, мне назначено что-то другое.

Эту диспропорцию между телом и головой, да к тому же неправильной формы, правое полушарие больше левого, Кларица заметила даже не в машине, а еще раньше, когда Далбис в машину ее лишь усаживал, но потом перестала обращать на это внимание. А сейчас обратила: загнанная лошадь – не весь, значит, Далбис. За чем должно было что-то последовать, какие-то выводы, на которые Далбис не оставил ей времени.

– Гениальность – печать, от которой невозможно избавиться, – сквозь сигаретный дым заговорил он так же резко, отрывисто, как говорил до этого, но теперь еще чуть-чуть раздумчиво, словно не успел придумать, чем завершит свой новый пассаж. – Проклятие, если хочешь. Вот я – человек заурядный. Сегодня я занят одним, а завтра все брошу и кинусь в другое. Чего не умею – тому научусь. Если силы и серое вещество в голове мне позволят. А к чему я веду: у меня большой выбор. Он, в сущности, неисчерпаем. Я могу научиться паять, мастерить гитары, копировать серьги и разные глупости. Но изначально я пуст. Я – пустая кастрюля, в которую надо насыпать крупу: без крупы ведь не сварится каша. Я беру все готовым, что до меня сделал кто-то другой. А он, – и Далбис посмотрел на сцену, куда до этого смотреть избегал, – он полон, и сразу доверху: кастрюля, крупа, – всего вдоволь. Вари! И поэтому у него нет выбора... Или даже не так: выбор есть, но он сделан не им. Похерь этот выбор – и нет тебя, ноль. А принял – в лукошко, любезный, будь гением.

Кларицу удивило, что на этот раз Далбис не выдохся, довел мысль до конца, и даже способен продолжить.

– А почему ты сказал: «потом уходи»? – спросила она. – Если гений – как раз и нельзя уходить?

И не ошиблась, Далбис продолжил:

– Ну, во-первых, можно. Гению все можно, – от непогасшего окурка он закурил новую сигарету. – Это нам вот с тобой нельзя. Да мы и не уйдем, потому что нам некуда. А во-вторых, что делить ему с нами?

И Кларица все же обиделась, но как-то не так, как всегда обижалась. Не на Далбиса, а сама не поняла на кого. Его последние слова: «не уйдем», «что делить ему с нами?» – были повторением ее, Кларицы, мыслей, которые пришли ей в голову у входа в «Розовый купол». Этими мыслями она поделилась с Добом. И Доб ей сказал: не философствуй, потому что ты – женщина... Не в точности так было сказано, но дело не в этом, а в том, что мысли, пришедшие в голову там, у «Розового купола», относились к городу. Дорлин порвал со своим окружением по той же причине: что делить ему с нами? Не со мной или Добом, иль Далбисом, а другими городами Флетонии. Порвал и ушел в одиночество, однако одиноким его не оставили, за ним увязались... И я в том числе. Разве «гением» город не назвала.

И тут же впечатление от «Дирижабля» стало иным. Когда Кларица только вошла в его зал, – еще до людей за столами, взгляд до них не добрался еще, – первым ощущением было: я опускаюсь. Началось это в лифте, под всплески рекламы, а здесь, без рекламы, продолжилось. Второсортное кафе, второсортно обставленное, безвкусные граффити на стенах, да и люди, что сидят за столами... Задним числом Кларица и их стала считать второсортными, сперва я ошиблась. Забегаловка, одним словом. Но, с другой стороны, видела Кларица забегаловки. Горланить, махать кулаками никто здесь не станет. Да и музыки в забегаловках нет. Автомат лишь в углу, куда бросишь монетку – и сбренчит, что ему ты закажешь...

И все-таки – опускаюсь. В какой-то момент это чувство угасло, но теперь возродилось опять. А послушаешь Далбиса: наоборот. Когда на сцене стоит сейчас гений!

Но кто сказал, что Овилан – гений? Далбис услышал, в него то вселилось... Но мало ли что в кого может вселиться?

И Кларица снова посмотрела на тощего Овилана, который все так же мучил гитару.

И еще: «у меня сотня выборов», – была просто обязана распутать клубок этот Кларица, – то есть у него, Далбиса, и таких вот, как я. Сильно сказано, эпитафией выбить на камне. Но ежели сотня – воспользуйся ими. Ладно, я не смогла, очевидно, по глупости, а тебе кто мешал? Только нет, всё туда же, привез в этот погреб?!

Кларица отпила немного вина: нет, клубок не распутывался, и мысли не желали выстраиваться. И она пожалела, что их отрубил вначале, когда они сами давались ей в руки: соучастие в зле, не хочу соучаствовать... Но сейчас не рублю, а они все равно: причудливый, странный орнамент из мыслей, который можно разглядывать эдак и так, но, поди, разберись, откуда он взялся, а еще увяжи в нем хоть что-то и с чем-то.

А может быть, и не надо увязывать? Делай как Вигда: называй вещи своими именами – и тогда они сами увяжутся.

И хотя Вигдин метод уже был подвергнут сомнению, Кларица все же решила: а попробую я еще раз. Город порвал со своим окружением, потому что его перерос, – назвала она первое имя. А Овилан? Тоже перерос? Но кого, да и в чем? В том, что не умеет играть на гитаре? Не успел научиться. От природы ему не дано. Чему называться бы надо иначе: не перерос, а остался внизу, ниже тех музыкантов, которых Кларица видела в «Розовом куполе». Да, они ублажали меня: для тебя, мол, спустились с Олимпа. Играли не так, как умеют играть, не так, как стали бы это делать в другом каком-нибудь месте, где публика собралась поприличней. Или выше бери: играли то, что им было противно играть. Презирали ту музыку, которой под-

чевали собравшихся в «Розовом куполе». И все-таки делали это профессионально. Не допускали ошибок, брали верные ноты. А что профессионального в игре Овилана? Ноль, ничего. И этот ноль Далбис возвел в гениальность?!.. А что выбора нет – так и вовсе слова, лишённые всякого смысла. Выбора нет потому, что не должно его быть. Хорошо выбирать, когда есть из чего. А ежели не из чего? Если неумение играть на гитаре, отсутствие слуха, скелета, каркаса – единственное достоинство Овилана? Ту же кашу сварить – не великий талант, но ведь тоже не всякий сумеет. Город, от чего-то отказываясь, не все решал сам, многое навязали ему обстоятельства, то самое окружение, с которым пришлось разорвать. Оно вынудило его поступить именно так, как он поступил. Он мог притвориться, пойти на маневр, – как говорит Далбис. – Уподобиться музыкантам из «Розового Купола», тоже спуститься с Олимпа. И нет нужды рвать – ведь никто не обязывает?!.. Но притворством бы этим унизил себя...

А может быть, и унизил?!

Кларица вздрогнула, когда так подумала, и тут же изготовилась отсечь эту мысль, как уже отсекла одну прежде, настолько эта мысль переворачивала все с ног на голову. От того мира, в каком жила Klarica, не оставляла камня на камне. Дорлин, свобода, магазины с услужливыми продавцами, где можно почувствовать себя человеком. В конце концов знание, каким город однажды поделится... Но прошли минута-другая, и Klarica переменяла решение. Трусость. Во мне говорит моя бабья трусость.

Да, конечно, унизил, – решила идти она до конца. – Унизил тем, что позволил за собой увязаться. Да хотя бы таким вот, как я. Или Вигда, которой ничуть не претит заменить живого человека приборчиком. Или Доб: – Этот город – мой бог... – поставленный на место настоящего Бога. А гений не терпит подмен, и поэтому за ним никто не увязывается. Он скорее отталкивает вот этим своим неумением никому и ни в чем подражать. Для него просто нет в этом надобности, не существует такого понятия – кого-то копировать. Он полон собой, выше горла – собой! – и с этим собой бы суметь разобраться!? И зачем ему нужно чужое? И тогда уже Далбис не прав: притворюсь, поступлю и расшаркаюсь, как вы, увязавшиеся, этого требуете. Снизойду, одним словом, на часик-другой, – и наше вам с кисточкой! – вновь в гениальность. Что совсем уже глупость: сделал подделку – не гений уже... А на самом деле даже не подделку – подделку, – поправилась Klarica.

И все-таки мысль буксовала. Необычная. Мало сказать необычная, никогда прежде не приходившая в голову. Но одно все же сдвинулось с места: клубок начал чуть-чуть расплетаться. И орнамент перестал быть только орнаментом, вокруг него наметился контур, а в нем самом, пусть пока неотчетливо, стали возникать и прослеживаться какие-то связи. И Klarica собрала себя всю: ну, немного еще! Не сдавайся, додумай!..

Как вдруг поймала себя, чему в первый момент не поверила: я отбиваю такт. Стучу каблуком. Точь-в-точь как те люди, что сидят за столами.

И впрямь – отбиваю, и вправду – стучу.

И мысль утерялась, и орнамент рассыпался. То есть между ощущением: ритм и орнамент было какое-то несоответствие. Их что-то сближало, тянуло друг к другу, и в ту же минуту отталкивало.

Или силы иссякли...

Кларица посмотрела на Далбиса: заметил ли, нет, что со мной происходит? – но Далбис курил... – И все же, стучу, и слежу за мелодией, которой тут нет и в помине.

К Овилану Кнайхету все это не имеет отношения, – тем не менее, не желала сдаваться Klarica. – Источник мелодии, ритма не он. Они возникли не здесь. Пришли откуда-то извне. Возникли вне стен «Дирижабля».

И глаза снова обратились к потолку, утыканному редкими светильниками, к безвкусно одетым людям за столами, к уродливым граффити на стенах.

И все же возникли. Возникли во мне. Откуда и как? Почему так случилось? Может быть, потому, что живу я нескладно, бесцельно мечусь, и истосковалась по чему-то законченному, где сведены все концы и начала. По чему-то гармоничному, что не похоже на трещины на потолке, на облезлых котов, на разбитые машины и наглость рекламы, – вот я и придумала музыку...

Что наглость уже с моей стороны! – продолжала спорить сама с собой Кларица. – Я – и музыка, которой я в жизни не сочиняла. Музыка, которую диктую я Овилану. Тянулась к свободе – а стала диктатором.

И Кларице захотелось рассердиться. Странное желание, еще более странное, чем мысли о музыке, которые ее одолели. Пускай недодуманные, не желающие додумываться. Но должна я выместить чувство обиды, причиной чему, что вокруг происходит: да вся моя жизнь, дружба с Вигдой и Дорлин, и еще «Дирижабль», еще эти люди, с которыми якобы можно сродниться... Какое-то вечное несовпадение, разочарование всегда и во всем. Ждешь одного, а приходит другое. Изнываешь: а вдруг кто-то даст, принесет. Для тебя, мол, берег, лишь тебе назначалось. Пригласит быть моделью. Поместит на обложку... – а в итоге: сама. Все всегда лишь сама. Заурядность – и гений. Но я ведь не гений. Вот и музыка эта – откуда взялась? Называю вещи своими именами – и стало мне будто хоть чуточку легче? Да плохи эти вещи, и названия тоже никуда не годятся!

Мало Седьмого этажа, ниже надумал! – обратила она свой гнев на Далбиса, а заодно на «Дирижабль», на Овилана на сцене. – Уход, гениальность! Гений может уйти!.. Но я здесь причем? Разрыв связей и путь в одиночество. Но в «Розовом куполе» этого не было. Не было общности, но и одиночеством тоже не пахло. Нарядные женщины, кавалеры-мужчины, обходительные официанты, музыканты на сцене. Ландшафты и чудища, контуры зданий, нарисованные разноцветными лампами, – их нереальность не бегство отнюдь: надевайте очки, исключительно розовые, заходите в меня, будьте вместе со мной!..

Почему это плохо? Какова цена правде, если, названные своими именами, вещи оказываются уродливыми? Их уродство лезет в глаза. И надо быть Вигдой, чтобы это уродство смаковать: на земле я стою, не парю в облаках; нету парня – приборчик. Всему есть замена.

Да ведь «Розовый купол» – копия города. Дорлин в миниатюре. Точно с тем же призывом: увязывайтесь за мной! Я ушел в одиночество – но не вправду. И кто не увяжется – будет жалеть. Я вам постелюсь, буду мягким, пушистым!

И так отчетливо это Кларица почувствовала, эту податливость, когда тебя гладят по шерсти и не оказывают сопротивления, чего, вроде бы, надо хотеть, – а я не хочу! Не могу! Меня бесит! Не надо мне платья! Не надо витрин!

И уже приготовилась сказать это вслух, выплеснуть Далбису, что накопилось, – но не выплеснула. Потому что не всё, потому что есть что-то еще, недодуманное.

«Все мы – родня, – вспомнились слова троюродного племянника, которому Кларица не дала номер своего телефона. – Мы обязаны вместе держаться». – Но вместе – зачем? Мол, нас много... И что? Ведь за «много» должно хоть бы что-то стоять. Стол, зюльки, дядья – взамен настоящего, где я – это я. Пускай некрасива... красива пускай, – что условность, лишь мода, так Вигда сказала, – но с правом хотеть, ошибаться и сметь. И – подмена иллюзией. Просто обман. Лицемерный обман, или хуже – игра. Как у Доба и Лебега: блюдце, беги! И тысячи глоток, ревет стадион: мы все – заодно, потому – победим!.. – Чего гений – не хочет, не может хотеть. Он – кустарь-одиночка, он ворон – но бел. И ему подавай вещи, как они есть: неверно, пусть промах – но мой! Только мой! И бездарность – моя! Неуменье – моё! Через все я пройду. Пропаду – и черт с ним! Но так, только так обрету, что искал! Доберусь до вещей, не названий отнюдь, а до их сердцевины, души, с ней сольюсь.

То есть так получилось, что гнев Кларица обратила на себя самое.

И дальше – галлюцинация, – иначе не назовешь: на месте Овилана с гитарой Кларица вдруг увидела Дорлин, но не тот Дорлин, в какой привезли ее родители, а крохотный, игрушечный, залитый светом, каким он был залит когда-то в ее, Кларицы, детском воображении.

И «Розовый купол» теперь вызвал ярость. И музыканты во фраках и с бабочками, что не стыдятся говорили в лицо: мы застим глаза, для того мы вот здесь, чтоб не видела ты, чего видеть не стоит. За меня они, то есть, решили: на это – гляди, разуй шире глаза, а на это – напрасно себя растрavляешь. – Полуправда, короче, что хуже, чем ложь. – И когда мы обманем таких вот, как ты, вы дадите нам право... – А вот черта с два! – еще больше разозлилась Кларица. – Ничего не дадим! Раз смогли снизить – оставайтесь внизу. Потому что право быть на Олимпе не дают. Оно либо есть, либо нет. А здесь, – и Кларица вернулась в «Дирижабль», – ни на чем не играющая женщина; барабаны, отбивающие такт, хотя барабанщик сидит, сложа руки; и тощий, как микрофонная стойка, Овилан Кнайхет. Щипнет за струну и прислушается: попал, не попал? И по тому, как он морщится, – нет, не попал, не доволен собой. И с гитарой он не в ладах, и со сценой, со светом, – со всем. И, тем не менее – такт. Я слышу его, и я слышу мелодию.

У Кларицы даже заболела голова, так захотелось во всем этом разобраться. Чтобы связи в орнаменте сделались явными, чтобы из них сложилась конструкция, гармоничная и законченная, а Дорлин, каким нарисовался он в детстве, ни в чем не противоречил бы ни орнаменту, ни этой конструкции, ни тому Дорлину, о каком рассказывал Доб. А из ошибок гитариста возникла гармония, и не у меня в голове, а у него... Или голова разболелась не поэтому? А от дыма, вина. И еще от обиды, что такая я дура, боюсь той стены, что увиделась мне в ресторане, где гуляла я с родственниками...

– Зачем мы спустились сюда? – спросила Кларица Далбиса.

На что Далбис промолчал, сделал вид, что не понял вопроса.

– Я приехала в Дорлин, чтобы быть наверху!

Вопросы и требования противоречили тому, о чем думалось минутой раньше, но хотелось противоречия, хотелось, чтобы ничто и ни с чем не совпадало, хотелось чего-то такого, чему и названия нет.

– Пройдет, – потушил окурок Далбис. – Однажды пройдет.

– Что пройдет?

– Желание быть наверху.

И вдруг схватил ее за руку, как хватал уже прежде, в машине:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.